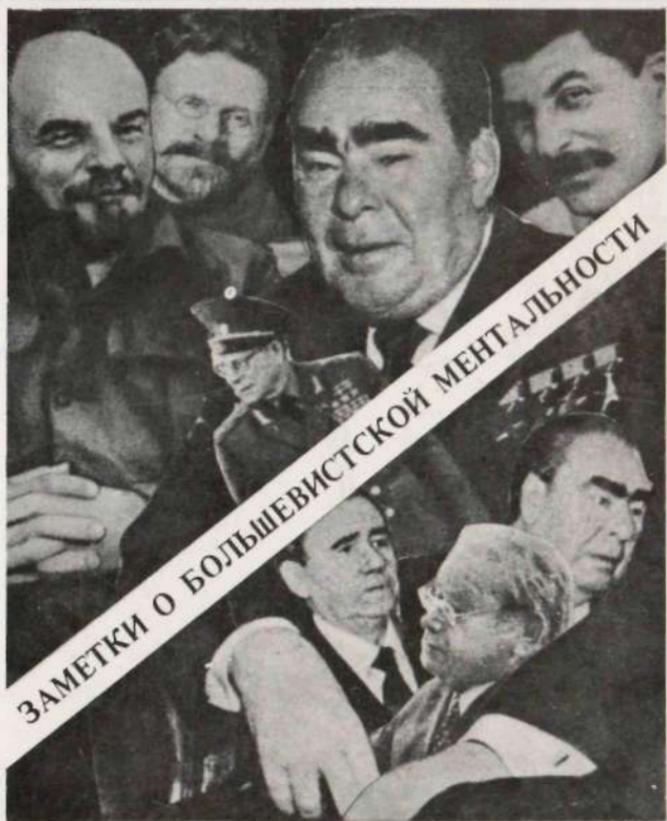


# ВРЕМЯ ИМБИ

1979

*В ЭТОМ НОМЕРЕ:*

- НЬЮ-ЙОРКСКАЯ  
ОДИССЕЯ  
ГЕНРИХА  
ШНЕЕРЗОНА
- ТЕКСТЫ И КОД  
КОММУНИЗМА
- ПРОТИВОРЕЧИЕ  
ДУХА  
АЛЕКСАНДРА  
СОЛЖЕНИЦЫНА
- В ЗАЩИТУ  
АЛЬМАНАХА  
"МЕТРОПОЛЬ"
- ИСПОВЕДЬ  
РАИСЫ ЛЕРТ
- ТАЕЖНЫЙ  
ДЕТЕКТИВ



ЗАМЕТКИ О БОЛЬШЕВИСТСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ

# ВРЕМЯ И МЫ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ  
ЖУРНАЛ  
ЛИТЕРАТУРЫ  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ПРОБЛЕМ

*Пятый год издания*

Выходит один раз в месяц

---

**47**  
**1979** НОЯБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ"  
1979

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ФАИНА БААЗОВА	ЛЕВ ЛАРСКИЙ
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА	ЛЕВ НАВРОЗОВ
ЕГОШУА А. ГИЛЬБОА	ВИКТОР НЕКРАСОВ
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ДОРА ШТУРМАН
МИХАИЛ КАЛИК	ЕФИМ ЭТКИНД

Американское отделение журнала "Время и мы".

Адрес отделения: 809 West, 177 Str., Apt. 4E N. Y.  
10033 T. (212) 781-05-09

Представители журнала:

Англия Александр Штротас  
Croft House, Top Flat 32 New Hay Road Rastrick, Brighoun  
W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND.

Западный Лотар Ролл  
Берлин Buschkrugallee 98, 1000 Berlin 47, t. 606-77-61

Канада Юрий Лурья  
305 Robson Hall Winnipeg, Manitoba Canada R3t 2N2  
t. (204) 474 9773

ФРГ Арий Вернер  
Postfach SO 1968 5000 Koeln, 50 West Germany

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Аркадий ЛЬВОВ

Бизнесмен . . . . . 5

ПОЭЗИЯ

Дмитрий МАЛКИН

Невский проспект . . . . . 48

Илья БОКШТЕЙН

Свет на снегу . . . . . 55

Марина ГЛАЗОВА

Запах хлеба и плесени . . . . . 59

ПУБЛИЦИСТИКА, СОЦИОЛОГИЯ, КРИТИКА

С.В. МЕЛЬНИКОВ

Тексты и код коммунизма . . . . . 62

Эмиль КОГАН

Противоречие духа и дух противоречия . . . . . 88

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ

Час смятения . . . . . 110

ЗАПАД-РОССИЯ

В защиту альманаха "Метрополь" . . . . . 120

Феликс КУЗНЕЦОВ

О чем шум . . . . . 121

Семен ЛИПКИН

Образ и давление времени . . . . . 126

Ефим ЭТКИНД

Литературная "нравственность" Ф. Кузнецова . . . . . 134

## ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

*Р. ПЕРТ*

Поздний опыт. . . . .144

*Михаил ДЕМИН*

Горькое золото. . . . .166

## ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Как фраза римского легионера. . . . . 206

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

© "Время и Мы"

ПРОЗА \_\_\_\_\_



*Аркадий ЛЬВОВ*

## БИЗНЕСМЕН

— Человек должен иметь цель. Человек — это цель. Нет цели — нет человека.

Он говорил уверенно, быстро, пространство перед собой рубил ребром ладони, внезапно сжимал пальцы в кулак, возникало странное ощущение, что кулаком он наносит удары по голове, и голова эта, хотя невидимая, противилась изо всех сил ударам, но всякий раз после удара оседала, колеблясь из стороны в сторону, все ниже и вдруг, вконец обессиленная, свалилась на пол, шмякнувшись затылком, — послышался глухой удар, который слился с другим, он топнул ногой, засмеялся, смех был звонкий, радостный, было впечатление, человек разделался со своим врагом, враг бездыханный, бесчувственный, лежал тут же, у его ног, он поддел его носком туфли, запросто, как тюфяк, отшвырнул от себя и продолжал:

— Кто они? Люди? Нет, они не люди — у них нет цели. Они думают, что у них есть цель. У них нет цели — у них есть желание. Они думают, желание — это цель. Они не люди, они —

шваль. У них крошечный мозг. Этого мозга хватает на две функции: кушать и какать. Кушать и какать — в этом вся их жизнь. Легко кушать и легко какать. Из-за этого они оставили Россию. Из-за этого они приехали сюда, в Америку. Они верили в Америку: в Америке легко кушать и легко какать. А теперь они кричат: гевалт, куда мы попали! Там они кричали: мы евреи, нас давят, мы хотим быть равными, хотим быть, как все! Что это значит, как все? Как все — это как русские, как украинцы, как грузины у себя в Грузии.

Он приехал год назад. Год назад он говорил то же самое. Весь этот год, пока не перебрался сюда, на Брум-стрит, 154, он просидел в гостинице "Чероки". За это время въехала и выехала дюжина эмигрантских семей — с детьми, со стариками, с калеками, которых приносили и уносили на носилках, — он смотрел на них и повторял одно слово: шваль.

Ровно через месяц, считая с первого дня приезда, в НАЙАНЕ сказали ему: "Хватит, вы осмотрелись, отдохнули, — идите работать!" Он спросил: "Что значит работать? Где работать? Кем работать? Как работать?" Он не животное, чтобы надевать на себя ярмо. В ярме он мог ходить и там — здесь он свободный человек, и не надо путать его со всей этой швалью: они были в ярме там, они будут в ярме здесь. Для них это не трагедия, для них — это норма.

Еще через месяц ему сказали: "Как вам не стыдно, вы здоровый мужчина, вы один, без семьи, вы должны работать". Он снова спросил: "Где работать? С кем работать? Кем работать? Дайте мне работу по специальности. Я математик, я преподаватель. Дайте мне работу по специальности". Ему сказали: "Вы не можете работать по специальности, вы не знаете языка". "Да, сказал он, я не знаю языка: пошлите меня на курсы, я буду знать язык". "Нет, сказали ему: хотите на курсы — оставьте гостиницу, снимите квартиру, как все". Он спросил: "Кто — все? Эти уголовники, которые бежали от суда, эти воры, которые там крали у государства, а здесь крадут друг у друга! Я не они, я специалист — дайте мне работу по специальности. Я слушал "Голос Америки", я слушал радио "Свобода", я читал журнал "Америка", я знаю, как вы живете, и я

знаю, как я хочу жить. Я в России имел все — работу, квартиру, семью. Одного я не имел: независимости. Я приехал сюда не за куском хлеба, я приехал за независимостью, а вы хотите напялить на меня ярмо: иди, животное, работай и зарабатывай себе на жвачку!"

Он добился своего: его послали на курсы. Ему дали шесть недель, потом добавили еще шесть недель. Каждые две недели ему присылали чеки — на еду, на транспорт. На транспорте он сэкономил: гостиница была в центре города, в Манхэттене.

Он любил гулять по Пятой авеню, вдоль Сентрал-парка, по Парк-авеню. Парк-авеню хуже Пятой: мало зелени, перед окнами нет открытых пространств. Но Лексингтон — это уже клоака, Ист-сайд, а все равно клоака, непонятно, как она оказалась здесь. Ей место там, на Вест-сайд, вместе с Амстердам-авеню, вместе с Бродвеем, вместе со всем тем Нью-Йорком, который одна сплошная клоака.

Грязь раздражала, мешала думать, мешала сосредоточиться. Черные полиэтиленовые мешки, набитые черт знает чем — он ловил себя на вздорной мысли: а вдруг люди, изрубленные в куски! — картонные коробки, втиснутые кривь, вкось одна в другую; кресла, диваны, то почти новые, как будто не выбросили, а оставили лишь на время, чтобы занести в дом, то дряхлые, с тяжко просевшими сиденьями, как будто и сейчас, невидимые глазу, давили на них человеческие тела с распухшими задами, — поражали своей нескончаемой массой, своей очевидной на сегодня, на завтра, на тысячу лет вперед до неминуемой катастрофы неизбывностью.

На Пятой авеню он чувствовал себя человеком, мысли здесь были четкие, ясные: жить, как живут эти люди. Не обязательно здесь, на Пятой, даже лучше не здесь — где-нибудь в Квинсе, Кью-Гарденс, Форист-Хиллс, на худой конец, Флашинг, в своем коттедже, чтобы сверху было свое, снизу было свое, никаких соседей, никаких голосов, никаких звуков, кроме его собственных и той, которая будет с ним.

Какая она будет, пока было неясно, но, во всяком случае, не из тех, с резиновыми улыбками и нелепым спокойствием манекенов, от которого полшага до истерики. Женщина долж-

на была быть положительная, готовая к трудностям, в конце концов, жизнь — это и есть трудности. Те, что приехали с ним из России, девяносто девять процентов шваль. Заламывая руки, они кричат: караул! Нет, с ними он не имеет ничего общего: пусть копошатся в своем дерьме, пусть ворошат свое прошлое и бесконечно стонут, ой, идиоты, мало нас били, мало пускали кровь.

Не, с ними ясно: конец. Приехал в Америку — будь американцем.

Нужна американка. Интеллигентная, умная, которая ищет человека, а не делателя денег. Деньги он будет делать, это само собой, так устроен мир, хорошо ли, плохо ли, но так устроен: деньги надо делать. Но деньги не главное, главное — душа, чтобы тебя понимали и чтобы ты понимал. Тысячи, пусть даже миллионы, когда рядом нет своего человека, — это жизнь? Собака воеет на луну — вот вся их жизнь!

Они не будут выть на луну, они будут друг для друга: он для нее, она для него. Она даст деньги, он будет делать бизнес. Только идиоты думают, что для американки деньги — это все. Американка, если она человек и если у нее есть деньги, сама найдет, кого надо. Ее деньгами не удивишь: человек — вот, что ей нужно, в первую очередь, человек, а потом уже все остальное.

Его найдут, в этом он не сомневается. Та, которой нужно, сама найдет его. Но, как говорят, под лежачий камень вода не течет. Надо и самому искать. Не то, чтобы искать, а дать о себе знать: я, Генрих Шнеерзон, сорок пять лет, образование высшее, рост сто восемьдесят, вес семьдесят кило, манеры хорошие, душа тонкая, существую. С языком неважно, пока неважно, но будет, все будет, когда надо, люди понимают друг друга с полуслова. А полслова, слава Богу, найдется, даже сто раз по полслова найдется.

За пятьдесят центов он купил "Селлинг пост", текст приготовил заранее, вырезал купон на бесплатное объявление и в тот же день, еще семнадцать центов на конверт с маркой, отправил в газету: "Ищу интеллигентную, образованную американку, миловидную, тридцать-тридцать пять лет". Про себя

он добавил две детали: доктор философии, европейское прошлое. Детали не совсем точные: у него не было степени, а европейское прошлое едва ли наводило на мысль о России. Россия, конечно, та же Европа, не меньше, чем Польша, Болгария или Румыния, но в то же время Россия — это Россия. Однако он объяснил сам себе, что подготовка, которую он получил на математическом факультете в Одессе, у профессора Моисея Рутмана, ученика самого академика Крейна, вполне стоит американской докторской степени, а что касается европейского прошлого, то дай Бог какому-нибудь там болгарину, поляку или румыну быть на его уровне! Словом, лжи, не только лжи, даже преувеличения, здесь, по сути, не было: была просто новая, более точная, может быть, лучше сказать, адекватная система мер.

Три дня подряд телефон буквально разрывался от звонков. Нельзя было выйти из дому, нельзя было спокойно провести свои десять минут в ванной: поддерживая левой рукой брюки, правой он хватал трубку и так, держась одной рукой за брюки, другой — за трубку, вел разговор. Разговоры были разные: длинные, короткие и так себе — ни длинные, ни короткие.

В первый же день, однако, обнаружилась существенная подробность: говорить по-английски по телефону — это не то же, что говорить по-английски, когда человек тут же, рядом с тобой. Не только отдельные слова, целые фразы звучали так, как будто женщины нарочно старались запутать его, заморочить голову, остаться загадочными, таинственными, хотя с другой стороны, какой смысл морочить голову человеку, если ищешь друга жизни. А они, как и он, искали друга жизни, иначе не было резона звонить. Он просил не торопиться, говорить помедленнее, и сам говорил так, как будто от рождения был заикой и страдал внезапными провалами памяти. Черт его знает, как это получалось, но самые простые слова всякий раз в нужный момент вылетали из головы, хотя при этом, что называется, вертелись на кончике языка, но вертелись как-то странно, как ящерицы в траве, которых, казалось, ничего не стоит изловчиться схватить двумя пальцами и, что самое до-

садное, действительно изловчался, действительно схватывал, но в конце концов оказывалось, торчит между пальцев лишь зеленый кончик хвоста, судорожно, без смысла, без цели дергающийся во все стороны.

В первый же день обнаружилась еще одна деталь, которую заранее трудно было предвидеть: хотя в объявлении он точно указал свой возраст, сорок пять лет, и также точно указал желательный возраст женщины, тридцать-тридцать пять, абоненты за редким исключением нисколько не считались с метрикой — ни с его, ни со своей. Судя по голосам, были все, начиная с тех, чьи имена каких-нибудь два десятка лет назад появились в книге записей о рождениях, и кончая теми, чьи имена чуть не до последней буквы были уже начертаны в книге исхода.

Девочки говорили серьезными, взрослыми голосами и объясняли, что в свои двадцать они понимают жизнь лучше, чем другие в сорок, что сопляки в тридцать лет, у которых на уме одни диско, вызывают у них отвращение, потому что главное в жизни — это семья, а эти дискоманы с невымытыми ногами пусть ищут себе подруг среди таких же, как они сами. Он отвечал им, что они правы, правы на все сто процентов, но тут же, противореча себе, принимался доказывать, что они еще не совсем понимают жизнь, что жизнь — это опыт, а опыт — это возраст; девочки вначале терпеливо слушали, переспрашивали, потом вдруг начинали хохотать и почти все, как будто сговорились, кончали одинаково: е.. сам, старый идиот! Первый раз он не понял, попросил повторить, повторили и еще добавили, все с тем же дурацким смехом, пусть сосет сам у себя — только про хребет свой пусть не забудет, а то рассыплется.

В тот, первый раз, он не успел ответить, повесили трубку, но в следующие разы он готовился заранее и ждал только момента, чтобы тут же откинуть шайбу, причем добавлял еще по-русски, так что и сам уже получал удовольствие.

Об американских девочках по телефонным этим разговорам у него сложилось неважное впечатление. Хотя, с другой стороны, в Москве, в Одессе лучше они, что ли? Такое по-

шло поколение. Там, в России, хоть в книгах, в кино, в театре вся эта дрянь под табу, а здесь вольница такая, гуляй, одно-ва живем!

А в общем, какое ему дело до этих девочек. Пусть у их пап, у их мам болит за них голова.

Он наказал себе с девочками в разговоры не вступать: пустая трата времени. Приняв решение, он держался своей линии твердо, но пару раз, — а вдруг серьезная девушка, из хорошей семьи, пусть не миллионеры, но состоятельные люди, папа так просто, в одной рубашке, к мужу не погонит, — срывался.

Первая девушка оказалась действительно на редкость порядочная: никаких штук, студентка, круглая сирота, хочет за мужчину в возрасте, сама объяснила, наверное, фрейдовский комплекс, рано лишилась отца, иллюзий никаких, жизнь надо начинать с пустого места, как говорят, ни кола, ни двора, но не беда, она любит европейцев, будет учить Генриха английскому, это очень сближает, когда жена учит мужа, Генрих пошутил: пиллоу-лесснз, шутка ей не понравилась, она прямо сказала, что не любит таких шуток, он извинился, она предложила встретиться, на мгновение одолел соблазн — а почему бы нет, может, это и есть удача, сама лезет в руки! — но, Боже мой, начинать с пустого места, она захочет детей, такие обожают детей, сама будет изводиться и его изведет... Нет, сказал Генрих твердо, он не может, не имеет права, она сама подумает и поймет: нельзя! Она сказала, что уже подумала и все его страхи знает наперечет — и про пустое место, и про детей, и про то, что сейчас она говорит одно, а потом будет все по-другому, женщина-ведьма, женщина-оборотень, опыт веков — но все это вздор, средневековье, мужчины торчат все еще там, в пятнадцатом веке. Генрих не понял, почему именно в пятнадцатом — инквизиция, что ли, костры, ведьмы? — но и горячность ее, и настырность, и ссылки на средневековье, — черт возьми, ведьма-таки, все угадала! — по-настоящему испугали его, и теперь уже не было у него к ней ни жалости, ни симпатии, ни уважения, было лишь ощущение опасности, от которой надо во что бы то ни стало уйти.

Нет, сказал он жестко, хотел добавить еще, что разговор

потерял смысл, но она уже и сама поняла — по тону, по визгливой ноте, ворвавшейся в это его "нет!" — и повесила трубку.

В первое мгновение, когда она повесила трубку, он почувствовал облегчение, как будто действительно ушел от опасности, но затем, почти вслед за облегчением, охватила его тоска, вроде упустил что-то, потерял, и, самое обидное, если бы и захотел вернуться, найти, чтобы еще раз рассмотреть, подержать в руках, впустую все: ни адреса, ни телефона, ни даже фамилии, только имя — Эмми.

Последний звонок, он уже собрался спать, был в одинондцать. Он вскочил, как ошарашенный: она!

Нет, это была не она. Была другая, тоже рассудительная, в голосе даже больше теплоты, сразу взяла нужный темп, слова произносила четко, замедленно, как на уроке орфоэпии, слушала терпеливо, вопросы были точные, конкретные. Почему оставил Россию? Почему приехал в Америку? Как представляет себе будущую жену? С капиталом? С каким капиталом? Он отвечал откровенно, только насчет капитала сказал, что разговор не для телефона; да, согласилась она, не для телефона, и предложила приехать к ней, в Грейт Некк, очень красивый район, много евреев, он спросил, как ехать, сабвеем, автобусом, она сказала, нет, она сама приедет за ним, сабвеем и автобусом у них в семье не пользуются, у каждого своя машина; он пошутил: наверное, у каждого и своя спальня, она ответила серьезно, да, у каждого своя спальня, таким же голосом она могла бы сказать, у каждого свой дворец; потом, не меняя тона, как будто в продолжение разговора, спросила: "Вы еврей?" Он засмеялся и сказал: "Да, вы, наверно, по акценту угадали?" Она сказала: "Не только по акценту". Он опять засмеялся и спросил: "А как же еще? А по запаху, — сказала она, — жидом за три мили пахнет". И вдруг, все так же четко, как на уроке орфоэпии, только чуть побыстрее, стала выкладывать. "Пархатый, доктор жидософии, мало тебе, что Россию засрал, Америка тебе нужна! Бизнес Мойшеле захотел, американочку с приданым! Получите у нас приданое, все шесть миллионов, как те шесть миллионов у Гитлера! У, гниды!"

Сначала нашел на него столбняк, он отчетливо слышал каждое слово, но никак не реагировал, как будто слова относились не к нему, а к кому-то другому, с кем у этой женщины были свои личные счета, потом появилось у него дурацкое ощущение, что он не в Нью-Йорке, а там, у себя в Одессе, и какая-то идиотка, выдавая себя за американку, решила разыграть его. Потом, когда дошло до него, наконец, что он в Нью-Йорке, а не в Одессе, и все слова, которые он слышит, относятся именно к нему, а не к кому-то стороннему, он стал кричать: "Фашистка, бэрчистка, Чибирячка, ты не американка, ты агентша, ты засланная, ты говно собачье!" Потом он закричал, что сейчас же установит номер ее телефона и вызовет полицию, пусть пошурует в этом нацистском шалмане, женщина засмеялась, сказала: "Шмок, киш ин тухес", — и повесила трубку. Он услышал щелчок, но все равно не мог остановиться и продолжал кричать: "Сама киш ин тухес, власовка, сука нацистская, курва, антисемитка!" Английских слов не хватало, а он все не мог остановиться, перешел на русский, сразу почувствовал облегчение, но тут же сообразил, что давно уже никто его не слушает, вызвал оператора, сказал, пусть установят номер телефона, по которому ему звонили пять минут назад, оператор спросил имя, фамилию и адрес абонента, он ответил, что ничего не знает, знает только, что звонила женщина, оператор сказал, что ничего не понимает и очень сожалеет, но помочь не может.

"Тупицы! — закричал Генрих, — тупоголовые идиоты!" Швырнул трубку на аппарат, ударил кулаком по столу, грохнулся на диван, однако тут же вскочил и стал бегать вокруг стола. На столе лежал нож, тяжелый, с широким, как у секача, клинком, он схватил его, стал тыкать им в воздух, сопровождая каждое движение диким кличем, вдруг увидел себя в зеркале, первое впечатление было странное — вроде он, да не он, чуть не бросился на того, в зеркале, с ножом: перекошенная челюсть, белые глаза, но тут же опомнился, засмеялся, швырнул нож на пол, острие вонзилось в паркет, он наклонился, с силой выдернул, мгновение подержал в руках, как будто раздумывая, как быть дальше, провел острием по ла-

дони, нож был хорошо заточен, снова увидел себя в зеркале, лицо было другое, почти спокойное, отнес нож в кухню, вернулся, бросился на диван, сначала никак не мог найти удобную позу, наконец, улегся, уперся ногами в валик, появилось чувство опоры, приятное чувство, вроде все воротилось на свое место, обнял себя руками, уставился глазами в потолок — потолок был чистый, гладкий, без единой трещины — и окончательно успокоился. Теперь он сам удивлялся себе, что из-за какой-то чепухи пришел в ярость. Что в Америке, в Нью-Йорке, есть антисемиты, не новость, а почему, собственно, не должно быть антисемитов, раз есть евреи, значит, должны быть и антисемиты, в конце концов, среди самих евреев достаточно антисемитов. Все дело просто в неожиданности: там, в России, он всегда был готов к этому, а здесь, в Нью-Йорке, хотя его предупреждали, встретился в первый раз. Да и то, где гарантия, что все это было всерьез, а не розыгрыш. Кто рассказывает самые паскудные анекдоты про евреев? Евреи. Кто сочиняет эти анекдоты? Евреи. Еврей без чувства юмора — это не еврей. Очень может быть, девица была как раз еврейка. Во всяком случае, это "киш ин тухес!" она произнесла не хуже, чем где-нибудь в Одессе или Кишиневе. Короче, надо оставить свои русские штуки бросаться на людей, как бешеная собака, из-за каждого пустяка. Американцы правы: "Берегите себя! Take it easy".

Через две недели он дал новое объявление в газете. Точнее, текст был тот же, прежний, добавилась лишь одна деталь: знание английского языка ограничено. По первому впечатлению, пустяк, но, оказалось, далеко не пустяк. Девицы вообще перестали звонить. Это было хорошо. Хуже было другое: вместе с девицами почти замолкли и те, к кому он обращался, — тридцатилетние. Остались сорокалетние. Тоже не трагедия: американки в сорок-сорок пять — при их образе жизни, не русские бабы, из которых выжаты все соки. Но все же появилось неприятное чувство, вроде он сам постарел. Вздор, конечно, но вместе с этим чувством появилось и другое; то ли досада, то ли опасение, что кто-то хочет выгадать на нем. Хотя, с другой стороны, свободный рынок есть свободный рынок, просто надо быть начеку.

Синтия Гринвуд не звонила. Она написала письмо, предложила встретиться у него дома, на Брум-стрит, 154. Почему у него, а не у нее или где-нибудь в другом месте, она не объяснила. Сначала было немножко неприятно — почему все-таки у него? — но тут же он решил, что это даже лучше: ничего не надо объяснять, эмигрант есть эмигрант, пусть увидит все своими глазами.

Как договорились, он ждал ее у ворот, она еще из машины, голубой "Бьюик", сделала рукой знак, что видит его, свободных мест не было, пришлось проехать вперед, чтобы запарковаться. Ему было неясно, надо стоять на месте или идти за ней, он уже сделал несколько шагов, но она махнула рукой: не надо, пусть ждет у ворот.

Американка есть американка: зеленые в клетку штаны, плотно облегающие зад, коралловые сандалеты, коралловая блузка и красная сумка. В общем, ничего страшного, но он предпочел бы к зеленому что-нибудь кофейное или желтое. Она подала ему руку, энергично, по-мужски пожала и сказала: "Что же мы стоим, ведите".

Во дворе играли пуэрториканские дети: ударяли по пластмассовым флаконам ногой, оттуда вылетала черная жидкость и забрызгивала тех, кто не успел увернуться, от пят до голы.

Холл был набит битком: один лифт не работал, другой капризничал, проскакивал нужные этажи, приходилось два-три раза нажимать кнопку, чтобы попасть на свой этаж. В кабине стоял смрад, молодые курили, передавая сигареты изо рта в рот, глубоко затягивались и жмурились глаза.

"Травка, — сказал он, — здесь курят все: даже дети". Синтия кивнула головой: "Обычное дело, в муниципальных домах везде так". И вдруг засмеялась: "Я вижу, вы еще не привыкли. Не ожидали".

В коридоре пахло дурманом. Синтия сказала: "Странный запах, не марихуана". Генрих подтвердил: "Не марихуана, здесь живут негры, каждый день жгут какое-то зелье, выкуривают злых духов". Синтия пожала плечами: "Тоже недурно, по крайней мере, с этой стороны чувствуешь себя в безопасности".

В комнате она воскликнула: "О, совсем неплохое гнездышко!" Она села на диван, заложила ногу на ногу, осмотрелась, попросила пепельницу, закурила и опять воскликнула: "Правда, у вас здесь очень мило!" Генрих придвинул стул, хотел сесть, она сказала, пусть сядет рядом, на диван, стул нужен будет для другого. Она открыла сумку, вынула пачку фотографий, положила на стул и, выдергивая, как карты из колоды, по одной, объясняла: это наш домик, здесь бассейн, пока был жив муж, плавали каждый день, теперь забросили. А это Сибилла, старшая дочь, ей двадцать, учится в колледже. А вот Энн и Боб, оба в школе, Энн в этом году кончает. Боб самый способный, особенно в математике, но лентяй ужасный. Генрих сказал: "Я математик". "О! — воскликнула Синтия, — вы б ему задали, а со мной у него разговор короткий: мама, ты же не Эвклид, занимайся своей педагогикой". Я веду курс в колледже: синкретическое мышление ребенка. Генрих хлопнул себя по колену: "Слушайте, так мы с вами коллеги — я тоже педагог! Что вы думаете об Ушинском?" Синтия спросила: "Кто это Ушинский?" "Как, — поразился Генрих, — вы ничего не знаете об Ушинском! Ушинский — это же всемирно известный русский педагог. А как вам нравится Януш Корчак?" Синтия пожала плечами: она не знает Януша Корчака. "Вы не знаете Януша Корчака! — еще больше поразился Генрих. — Он же вместе со своими учениками, детьми, погиб от рук нацистов, не, — сказал Генрих, — вы не можете не знать Януша Корчака, весь мир его знает. Вы, наверно, просто забыли. Вообще, Европа дала миру самых крупных педагогов. Взять хотя бы Яна Амоса Коменского. В условиях средневековья это же было просто какое-то чудо — относиться к детям, как к равным. Вы согласны?" Гостья сказала, она не знает ни Коменского, ни его системы, а того, что она сейчас услышала, слишком мало, чтобы составить суждение. "И вообще, давайте лучше поговорим о себе. — Синтия вынула фотографию: она, рядом мужчина, толстый, лысый, держит на поводке собаку, и сказала: "Мой муж". "Хорошо! — мотнул головой Генрих, — ну, а Бенджамена Спока вы знаете? Или Бенджамена Спока вы тоже не знаете? В России Бенджамена Спока знает каждая домохозяйка".

Оказалось, доктора Бенджамена Спока гостья знает, но взглядов его не разделяет и дискутировать на эту тему ей бы не хотелось. "Как! — воскликнул хозяин, — вам неинтересно говорить о своей профессии! А ваш Джек Лондон в своем "Мартине Идене" говорил как раз наоборот: самое интересное — это говорить с человеком о его профессии. Или вы не согласны? Джек Лондон — это же ваш классик. В Советском Союзе его знает каждый второгодник". Гостья сказала, Джек Лондон родился сто лет назад, ей не хотелось бы бродить по кладбищам и докучать покойникам. Генрих возмутился: "Что значит покойник! Он же классик, а классики вечно живые. По-вашему получается, мы должны забыть своего Пушкина, своего Лермонтова, Гоголя, даже Толстого мы должны забыть". Синтия сказала, никто ничего не должен, она говорила только про себя. "Не, — засмеялся Генрих, — как вы это представляете себе: мы же не живем где-нибудь на необитаемом острове, мы же живем в обществе". Гостья кивнула головой: "Да, мы живем в обществе". "Ну, — развел руками Генрих, — а раз мы живем в обществе, значит, мы как-то отвечаем друг за друга. Или не отвечаем?" "Да, — сказала гостья, — отвечаем", — и тут же добавила: "Но, может быть, мы немножко по-разному понимаем это". Генрих опять развел руками: "Что значит по-разному? Существует только два варианта: или да, или нет, третьего не дано". Синтия улыбнулась: "Вы математик, математики любят точность". "Да, — подхватил Генрих, — математики любят точность, а вы разве не любите точность? В России все говорят: американские женщины любят точность. И вообще, — засмеялся Генрих, — у вас в Америке — матриархат. Это весь мир знает: в Америке — полный матриархат". Гостья пожала плечами: "Весь мир знает, только сами американцы не знают". "Американцы, — сказал Генрих, — многого про себя не знают". "Я думаю, — улыбнулась Синтия, — русские тоже не все знают про себя". "Во-первых, — сказал Генрих, — я не русский, а еврей из России, это две большие разницы, а во-вторых, что вы имеете в виду?" Гостья сказала, что ничего не имеет в виду, она просто ответила на реплику Генриха. "Нет, — провел пальцем в воздухе Генрих, —

просто так не говорят, а если говорят, значит хотят что-то сказать". Да, кивнула Синтия, и она сказала именно то, что хотела сказать. "Слушайте, — весело закричал Генрих, — в России есть такая игра: испорченный телефон. Эту игру очень любят дети. Я тоже когда-то любил играть". "О! — воскликнула гостья, — это очень интересно: расскажите про себя, ребенка!" "Не, — скривился Генрих, — это для вас неинтересно: была война, падали бомбы, папу забрали на фронт, мы с мамой эвакуировались в Туркмению, кушать нечего было, голодали, туркмены иногда жалели нас, приносили кусок чурека, папу убили под Будапештом, а в сорок пятом мы вернулись в Одессу. Не, — повторил Генрих, — американцам это неинтересно".

Синтия собрала фотографии, положила в сумочку, щелкнул замок. Генрих удивился: "Вы что, уходите?" Синтия сказала, ей пора, она позвонит как-нибудь. "Подождите, — остановил Генрих, — а ваш телефон: у меня же нет вашего телефона, а вдруг мне захочется позвонить раньше". Синтия улыбнулась: она позвонит в ближайшие дни. О'кей? Генрих засмеялся: "Я же говорил, что у вас полный матриархат — если женщина сказала О'кей, значит, О'кей!"

С лифтом повторилась прежняя история: сколько ни нажимали кнопку, он все проскакивал мимо, то вверх, то вниз, а когда потеряли уже надежду и решили спуститься по лестнице, он вдруг остановился. Синтия пожала плечами: "Злые духи, которых выгоняют ваши соседи негры, поселяются в шахте, где лифт". Генрих воскликнул: "Я вижу, у вас хорошее чувство юмора. Можно задать вам один вопрос: вы так неожиданно решили уйти — вы обиделись?" Синтия взяла Генриха за руку: "Вы очень милый. Очень".

На восьмом этаже вошел пуэрториканец, парень лет шестнадцати, закурил сигарету — длинную, тонкую, такие курят женщины. Генрих сказал: "Брось папиросу!" Пуэрториканец глубоко затянулся, подержал дым в себе, внезапно повернулся и враз, единым духом, выдохнул Генриху в лицо. Генрих схватил его за руку и закричал: "Свинья, грязная свинья!" Пуэрториканец сказал: "Я е... тебя!" — и выдернул руку. Синтия смотрела прямо перед собой, лицо было каменное, Ген-

рих воскликнул: "Ну, как вам нравится это животное! Написано: в лифте курить нельзя, за нарушение штраф, а ему плевать. На людей, на законы, на все на свете".

Генрих проводил гостью до машины, она молчала, он всю дорогу объяснял: "В России эту свинью взяли бы за руки, за ноги, хорошенько раскачали и выбросили бы вон! Ему демократия нужна? Ему кнут нужен, дубина ему нужна!"

Синтия села в машину, помахала рукой, бай-бай, и вмиг, как на гонках, рванула с места.

"Сука! — пробормотал Генрих, — старая сука!"

В десять Генрих посмотрел "Новости": в Манхэттене, где-то на Мэдисон, удавили ночью сразу троих, мотивы неизвестны, из вещей ничего не тронули... Лег на кровать, не раздеваясь, и стал подсчитывать: сколько она может получать? Тысяч двадцать-двадцать пять, не больше. Допустим, муж что-нибудь оставил. Не похоже, чтобы очень много. А трое детей — это трое детей, и каждому дай, пока еще станут на ноги. Что же остается на бизнес? Пшик! Не, с такими деньгами не в бизнес, с такими деньгами, в лучшем случае, два метра на два где-нибудь на Стэйтен-Айленде, и то не на кладбище барона Гирша. "У! — замычал Генрих, — старая сука: встала, ушла, хоть бы слово в оправдание, хоть бы извинилась!"

Ночь прошла в каких-то нелепых сновидениях, толстая женщина запускала зеленую руку Генриху под брюки, хватала его за член, грубо мяла своими короткими толстыми пальцами, хриплым, как у уличной девки, голосом говорила непристойные слова, садилась на Генриха верхом, нетерпеливо ерзала, но все без толку, Генриху было и противно, и стыдно, хотелось сказать ей, пусть убирается к чертовой матери, не встает на тебя, старая мегера, но сколько ни собирался, все не мог сказать, боялся, что она обидится и уйдет, а она вдруг спустила замок на зеленых своих брюках, открылась ширинка, вывалился огромный, весь в синих узлах, член, Генриха затошнило, она схватила его за плечи, приподнялась, норовя повернуть на живот, он весь сжался, не хватало дыхания, она оказалась необычайно сильной, повернула его к себе задом, и тут только дошло до него, что вовсе она не женщина, а си-

дит на нем мужчина и, еще секунда, добьется своего. Самое ужасное, он чувствовал, что силы оставляют его, он готов был уже сдаться, на мгновение появилось сладостное чувство — поражение, пусть поражение, главное, не надо уже бороться, — но тут же, с этим чувством, вернулись силы, он оттолкнулся, как конь, ногами, тряхнул крупом, тот, что сидел на нем, кувыркнулся в воздухе, пронзительно, по-женски, завизжал. Боже, мелькнуло у Генриха, да откуда он взял, что это мужик, ведь это все-таки она, баба, та, в зеленых штанах, сейчас она шмякнется, разобьется насмерть, он рванулся, чтобы помочь ей, подхватить на лету, но странно, тело ее, ударившись о потолок, не рухнуло тут же на пол, а стало плавно спускаться на него, Генриха, он выгнулся дугой, навстречу, наказывая себе держаться, не спешить, но едва она успела коснуться его, он весь задергался, суетливо, мелкими, собачьими движениями, забрызгал зеленые ее брюки, она в бешенстве закричала: "Скот, скот!" — потом заплакала, жалобно, как девочка. — Генрих сказал: "Я виноват, прости!" — Она передразнила его: "Прости, прости, на что мне твои извинения, мне нужно это, это!" — схватила его за член и стала вытягивать. — Генрих сказал: "Не надо, мне больно!" — Она дернула с силой, крикнула: "А мне, думаешь, не больно?" — внезапно наклонилась, захватила зубами и так, не разжимая зубов, стала бешено мотать головой и вопить: "Кастрат! кастрат!"

Генрих проснулся, ощущение ужаса еще не прошло, в ушах звучал ее вопль — кастрат! кастрат! — руки, все в липком, сжимали мошонку, было чувство разбитости, тело ныло от боли, как будто в самом деле побили, заставил себя подняться, пошел в ванную, стал под душ, тщательно намылился, смотрел, как вода смывает пену, как пена сбегает по дну к воронке, закручивается спиралью и уходит по трубам, под землю, где собираются нечистоты.

Утром проснулся с хорошим чувством: опасность была где-то рядом, совсем близко, но в конце концов все обошлось. Лицо было немножко усталое — веки набухли, под глазами синяки. На работе хозяин, Джозел Айзеншток, весело подмигнул и сказал: "Генри, в нашем возрасте такие ночи не проходят даром!"

До обеда Генрих отнес клиентам две пары часов. Часы были дорогие, с бриллиантами, несколько пар таких часов — можно бы открыть приличный бизнес. "Мечты курьера", — сказал себе Генрих, однако ощущение было довольно приятное: пусть на час, пусть на минутку, но в кармане — у тебя, не у кого-нибудь! — тысячи. Хозяин дал деньги на транспорт, хотя всей ходьбы, к обоим, было часа два, не больше. Генрих пошел пешком: три доллара — это еще почти час работы, Джозел платит три пятьдесят, и то как еврей еврею, а так бы он имел человека за три двадцать пять.

На ланче Нэнси Глик, бывшая учительница математики, предложила очередную задачу: изобразить фигуру, каждый из отрезков которой имеет четыре точки пересечения с другими составляющими ее отрезками. Люди ломали себе голову, извели гору салфеток, но не зря говорится: "Чего Бог не дал, в аптеке не купишь". Генрих был вне игры, Генриха в расчет не принимали: они закончили среднюю школу, половина ходила в колледж, а Генрих Шнеерзон — курьер. Чего можно ожидать от курьера! Люди сказали, пас, пусть Нэнси даст решение. Оказалось, Нэнси тоже не знает решения, она знает только условие. Генрих попросил чистую салфетку, чистых салфеток не было, он взял свою, мятую салфетку, с пятнами соуса, расправил и нарисовал шестиконечную звезду. Нэнси взяла салфетку первая и пересчитала точки пересечения каждого отрезка, потом салфетка пошла по кругу, каждый считал заново, и вернулась к Генриху. Он сказал, шестиконечная звезда — правильное решение, но не наиболее экономичное, а в математике требуется экономичность, и нарисовал пятиконечную звезду, а внутри просто так, шутки ради, серп и молот. Шутка понравилась, люди стали кричать: "Россия засылает в Америку красных диверсантов, которые работают курьерами, а на самом деле профессора математики". Генрих замахал руками: "Почему профессора? В России каждый семиклассник решает такие задачи!" Люди немножко обиделись, но, в общем, это было нестрашно, хуже было бы другое — если бы Джозел узнал, что у его курьера университетский диплом: курьеры с университетскими дипломами, даже евреи,

Джоэлу Айзенштоку, владельцу часовой фирмы, не нужны.

После ланча, всю вторую половину дня, у Генриха было странное состояние, о котором просто так, одним словом — хорошее — не скажешь. Руки сами собою складывались на груди, взгляд сделался пристальный, цепкий, люди не выдерживали и отводили глаза, Джоэл, этот остряк и балагур, прямо сказал: "Слушайте, Генри, у вас же свинцовый взгляд, как у Наполеона. Представляете, человек с такими глазами приходит к клиенту — это же готовый инфаркт!" Генрих пожал плечами: "Вы же на меня смотрите, вас, слава Богу, не хватает инфаркт, будем думать, другие — храбрецы не меньше вас. И кончим, мне не нравятся ваши шутки". "Шутки? — удивился Джоэл, — так вот, Генри, я говорю вам без шуток: мне не нравится ваш вид. Здесь не Россия, и у меня не колхоз, не крепостное право: силком никто вас не держит".

Следующий день оказался на редкость удачный: Генрих должен был сделать три ходки, Джоэл дал пять долларов на такси и автобус. Черт возьми, если бы каждый день так — это еще сто долларов в месяц! Надо было вернуться до ланча, Генрих положил деньги в карман и побежал. Бег трусцой — это, в конце концов, себе же польза, неприятно только, что через каждые квартал-два у перекрестка, прямо перед носом загорался красный свет, и приходилось останавливаться: во-первых, нарушался ритм, во-вторых, попусту терялось время. Генрих подумал, надо бы рассчитать свою скорость так, чтобы получилась зеленая улица. Он засек время между красным и желтым, желтым и зеленым сигналами светофоров, но оказалось, этого недостаточно, была еще одна важная переменная, которая от него не зависела и которую нельзя было предвидеть наперед: общая густота толпы и встречные потоки пешеходов, особенно на Пятой авеню, Мэдисон и Лексингтон. На одну удачу приходилась в среднем одна неудача, иногда даже больше, поначалу это вызывало чувство досады, потом стало раздражать, Генрих вспоминал вчерашнее — всех этих дебилов, из которых каждый получает по меньшей мере вдвое больше, чем он, и не станет гонять по улицам ради трешки или пятерки, потому что, по прихоти тупого случая, все они роди-

лись здесь, в зажравшейся своей Америке, и считают, что так и должно быть, никак не иначе, и плевать им на интеллект, и если какой-то там Генри Шнеерзон из вонючей России получает три с полтиной, значит, такая ему цена и большего он не стоит, пусть хоть сто тысяч задач решит, все равно не стоит, раз не платят, значит, не стоит, и еще этот толстый боров Джоэл Айзеншток, у которого в Ривердэйле свой особняк с бассейном и кусок собственной улицы, где не только остановиться, проехать постороннему нельзя, — и уже не досада, не раздражение, а ярость стала забирать Генриха; хотелось заплевать всем им поганые их, тупые морды, чтобы знали свое настоящее место, а не заставляли человека на пятом десятке, интеллигента, математика, которому их доктора со всеми своими дипломами и степенями в подметки не годятся, гонять до седьмого пота по улицам среди этих дам, обвешанных золотыми цепями и наручниками, и этих пижонов, у которых по полдюжины каратов на каждой манжете!

Пробежав еще десяток кварталов, Генрих сказал себе, хватит, чхать ему на Айзенштока, чхать на его клиентов, в конце концов, если они не знают ему, Генриху, цену, то он сам должен знать себе цену, и пора приучать людей, что не они, а он сам будет определять, сколько он стоит.

Первая клиентка оказалась милая женщина, лет за сорок, с серыми, очень серьезными глазами, она сказала, что стала уже немного волноваться, по расчетам мистера Айзенштока, Генрих должен был придти раньше, но, слава Богу, все в порядке, спросила Генриха: "Вы из России?" — сообщила, что ее мать тоже из России, из Гомеля, подала конверт, поблагодарила и пожелала всего хорошего.

В лифте, как только закрылась дверь, Генрих открыл конверт: пять долларов! Обычно дают доллар-два или вообще ничего не дают, случается, даже спасибо не говорят.

Выйдя за угол, на Парк-авеню, Генрих побежал, надо было успеть до ланча, а времени оставалось в обрез, придется тратить на автобус, на метро, тут назкономишь, но, с другой стороны, он сам решил, что чхать ему на всех Айзенштоков, главное, оставаться человеком, и перешел на ходьбу. Впрочем, это

была не настоящая ходьба, когда спокойно шагаешь себе и глазеешь по сторонам, а так, полуходьба, полубег; всякий раз, когда он глядел на часы, ноги, как будто кто-то со стороны задавал им программу, сами набирали скорость, и не оставалось ничего другого, как самого себя беспрестанно осаживать. Это было довольно-таки неприятно, вроде он не был хозяином самому себе, и, помимо его воли, существовала еще какая-то другая, над ним воля, которая была главнее, сильнее его собственной воли.

Двое других клиентов оказались малосимпатичные люди, которые прямо с порога набросились с упреками: мало того, что они теряли зря свое золотое время, они должны были еще хорошо поволноваться за свои часы. За опоздание, Генрих сказал, он извиняется, а насчет часов выразил недоумение: зачем было волноваться, если фирма несет полную ответственность. Первая клиентка пропустила эти слова мимо ушей, а вторая прямо сказала, что она глубоко возмущена, часы фамильные, не другим судить, и если господин Айзеншток держит таких посыльных, это его личное дело, но она с ним больше не хочет иметь дела, и пусть Генрих ему так и доложит. Генрих ответил, он ничего докладывать не будет, пусть сама докладывает, а со своей стороны добавил: кто способен терять свое здоровье из-за каких-то часов, тому надо обращаться с жалобами не в часовую фирму, а к доктору. Дверь тут же захлопнулась, не то что спасибо, до свидания не сказали, было ощущение, что наплевали в лицо, хотелось затарабанивать в дверь, разбить, побить, хотя, с другой стороны, что он не знает эту породу людей, не людей, людишек, которым, чуть наступишь на любимую мозоль, так слетает с них маска и открывается свиная харя!

Как Генрих ни торопился, он не только к ланчу не успел, прошел уже хороший час после ланча, когда он вернулся, и едва успел открыть дверь, ему тут же сказали, пусть немедленно идет к хозяину, тот уже два раза справлялся.

Зная характер Джоэла, можно было ожидать бури, но не было никакой бури, наоборот, спокойно, вежливо, без обычных своих шпилек, тот поинтересовался, почему Генрих не

вернулся к ланчу, хотя получил деньги на такси, на автобус, и были все возможности уложиться в указанное время. Генрих сказал: что значит указанное время, он же только работает в часовой фирме, а сам он не машина, не часы, не говоря уже про транспорт: там подождешь лишние пятнадцать минут, здесь лишние пятнадцать минут — а время не стоит на месте. Джоэл помолчал немного и сказал, это верно, что время не стоит на месте, но, когда от посыльного воняет потом, как от хорошего рысака, не надо быть Эйнштейном, чтобы догадаться: человек не пользуется транспортом, а гоняет через весь Манхеттен, как угорелый, лишь бы оставить у себя в кармане чужой дайм. "Это вранье, — закричал Генрих, — это наглое вранье! А даже если это так, надо быть толстокожим боровам, чтобы упрекать человека, который за счет собственных ног и собственного сердца хочет заработать лишнюю копейку!" Джоэл встал из-за стола, подошел к Генриху — тот машинально сделал шаг назад — взял его за руку, чуть повыше локтя, и сказал: "Генри, сегодня вы работаете здесь последний день, но толстокожий боров Айзеншток не выбрасывает людей на улицу, даже когда они сами просят: вы получите деньги вперед за две недели, кроме того, я оформлю вам пособие по безработице". Генрих сложил руки на груди, взгляд сделался, как вчера, пристальный, цепкий: "Айзеншток, вы думаете заработать у меня спасибо! А мне чхать на вашу благодетельность, Айзеншток, мне чхать на вас и на вашу фирму со всеми вашими идиотами, которые не знают дважды два!" "Генри, — сказал Джоэл, — это всегда приятно поговорить с умным евреем, но как раз сейчас у нас нет времени". "У вас нет, — притопнул ногой Генрих, — зато у меня есть!" "У вас тоже нет, — Джоэл открыл дверь, — надо отнести клиенту часы. Идите". "Сами идите, — закричал Генрих, — сами бегайте по улицам к своим клиентам, и пусть от вас воняет потом, как от рысака!"

Джоэл захлопнул дверь. Генрих стоял на одном месте, как будто притянутый магнитом, внутри все бурлило и клокотало: "Еврей, ему приятно поговорить с умным евреем! У, жиловская морда, недаром нас ненавидят!"

Через четверть часа Генрих постучался: он не хочет даром есть свой хлеб, сегодня он еще на работе — он отнесет часы. Джоэл сказал: "Нате доллар, на автобус". Генрих отмахнулся: "Заберите свой доллар, я не американец, я могу пешком!"

Генрих зашел в лифт, нажал кнопку, лифт двинулся вверх, на тридцатый этаж, где контора Людвига. У Людвига, миллионера, здесь под домом свой плавательный бассейн и свой теннисный корт. "Тпру! — закричал Генрих, — куда!" Но было уже поздно: лифт шел вверх, к Людвигу. Открылась дверь, никто не заходил. Генрих ждал. Было приятное чувство, не хотелось уезжать, подкатывала легкая тошнота, как будто стоишь на высоте, а где-то там, под тобой, копошатся люди.

А, махнул рукой Генрих, нажал кнопку, поехали вниз. Поначалу было нелепое ощущение, что сам, по собственной воле, он удаляется от цели, хотелось задержать лифт и послать опять туда, наверх, может, выйдет сам Людвиг, может... Лифт остановился, зашел Айзеншток, с порога уставился на Генриха: "Как, вы еще здесь! Ну, ну!" Надо было вообще не отвечать, но неожиданность есть неожиданность, и Генрих честно объяснил, что ошибся: вместо того, чтобы поехать вниз, он поехал наверх. Айзеншток кивнул головой: "Понятно, к Людвигу, лишний миллион никому не помешает". "Айзеншток, — сказал Генрих по-русски, — я срал на тебя с высокого полета!"

Домой Генрих возвращался пешком, дорога заняла ровно час. Когда открывал дверь, слышал телефон, пока успел подбежать, повесили трубку. Было досадное чувство: опоздал на каких-нибудь тридцать секунд — если бы не идиотские объяснения с этим подонком Айзенштоком, если бы не визит к Людвигу, если бы чуть ускорил шаг, а не шел вразвалочку... Словом, вся дневная его дорога была устлана потерянными секундами и минутами, из которых складывается жизнь. Но секунда секунде рознь, бывают так себе, просто скачет стрелка по циферблату, а бывают такие, что миг переворачивается вся человеческая жизнь.

Сначала Генрих сидел у телефона, было ощущение, что вот-вот позвонят опять. Казалось бы, ничего не делаешь, про-

сто сидишь и ждешь, но уже через полчаса Генрих почувствовал такую усталость, как будто за весь день не нашлось свободной минуты, чтобы разогнуть спину, а еще через полчаса едва достало сил перебраться на диван. Но, только успел лечь и забросить ноги, раздался звонок.

Звонила Элинора Кац. Она получила письмо от Генриха, сначала хотела тоже написать, но потом передумала: бывают письма, в которых с первого слова чувствуешь такое доверие к человеку, что хочется немедленно увидеть его своими глазами, услышать его голос, короче, быть бок о бок с ним, а не с почтовой его тенью. Элинора сказала, она звонила сегодня уже дважды, но телефон не отвечал, видимо, Генрих был на работе. И вот, наконец, она его застала и хотела бы пригласить к себе, если у Генриха завтра вечер свободен, пусть приходит завтра, в восемь. Генрих переспросил: "Завтра?" "Нет, нет..." — заторопилась Элинора, не обязательно завтра, просто ей хотелось бы пораньше, у нее как раз свободный от консерватории день, но если Генрих не может, пусть предложит другой день, когда ему удобно. "Хорошо, — сказал Генрих, — завтра, но не в восемь, а в восемь тридцать". "Прекрасно, — воскликнула Элинора, — в восемь тридцать, это даже лучше! Жду!"

Элинора жила на Тридцать девятой, угол Второй авеню. В вестибюле фонтанчик, швейцар и табличка на треноге: все посетители обязаны представляться. Генрих представился, швейцар позвонил Элиноре и тут же указал на лифт: шестнадцатый этаж. Элинора встретила у дверей: "О, вы сам Хронос, а говорят, русские не пунктуальны!" Генрих поправил: "Госпожа Кац, я не русский, я еврей из России — это не одно и то же". "А я не госпожа Кац, — улыбнулась хозяйка, — я просто Элинора. И вообще... — Она взяла Генриха за руку, завела в комнату, стены были сплошь в зеркалах, хозяйка и гость двигались себе навстречу, сопровождали себя с боков и, одновременно повернувшись спинами, удалялись от себя... — Вы именно такой, как я себе представляла: высокий, блондин, голубые глаза, немножко курчавые волосы, талия, плечи, ну, настоящий славянин, то есть еврей, но в то же время славя-

нин. Вы читали Кестлера, "Тринадцатое колено"? О, обязательно прочтите. Хотя многим евреям это не нравится, но Кестлер абсолютно прав: восточноевропейские евреи так перемешались со славянами, что сами стали почти славянами. Мой покойный папа родился в Киеве, на Подоле, он часто говорил: хорошо поскребите русского еврея — и вы найдете в нем гою. У вас много общего. Я пошла в папу: видите, высокая, блондинка, серые глаза, курносая. Только крестик, — Элино́р засмеялась, — маленький, маленький серебряный крестик! — не от него, крестик от мамы, мама ирландка". "А фамилия Кац, — улынулся Генрих, — наверное, не от мамы, наверное, от папы?" "От папы, — подтвердила Элино́р, — только не от моего папы, а от папы моего третьего мужа: они оба были Кацы".

"Садитесь здесь, — Элино́р села на диван, велела гостю придвинуться ближе, взяла со столика бутылку "Столичной" и сказала, — фу, какая невоспитанная, видите, я даже не спрашиваю вас, что вы будете пить! Но спросите у меня, я лично предпочитаю русскую водку. И никаких смесей: это гадкая американская привычка — делать смеси".

Выпили по стопке, закусили ломтиком с икрой. Генрих воскликнул: "Слушайте, Элино́р, у меня такое впечатление, как будто я не в Америке, а сижу где-то в Москве и пью с русской женщиной!" Элино́р пожала плечами: "Это неприятно?" "Наоборот, — сказал гость, — это двойное удовольствие: с одной стороны, американка, а с другой стороны, почти своя". "Почти? — нахмурилась Элино́р, — это нехорошо, не хочу быть почти, хочу быть просто своя". Генрих сказал: "Можно было бы выпить на брудершафт, но в английском нет "ты". "Ничего, — Элино́р налила по новой, — давайте скрестим руки, это будет наш брудершафт". Скрестили, выпили, Генрих хотел опустить руку, Элино́р погрозила пальцем: "У, какой вы торопыга", — сжала руку крепче и велела гостю сделать то же самое. Гость сжал, она сказала: "Крепче, изо всех сил, не щадите меня!" Гость сжал крепче, невольно уперся локтем ей в грудь, она вскрикнула: "Ах, больно! — выдернула руку и засмеялась, — ну вот, настоящий брудер-

шафт по-русски! А теперь, — Элино́р внезапно нахмурилась, — давайте будем серьезными: расскажите про себя, как жили в России, расскажите про семью, я вижу по лицу, у вас была семья, и вообще, говорите про что хотите — я ужасно люблю слушать". "Хорошо, — кивнул Генрих, — давайте начнем с семьи. Вы угадали, у меня была семья, у меня не только была, у меня есть семья. То есть и нет, и есть в одно и то же время. Я принес фотографии, можете посмотреть: это моя жена, это моя дочь". "О, — воскликнула Элино́р, — обе такие молодые, как подруги!" "Да, — подтвердил Генрих, — жене тридцать пять, а на вид тридцать, больше не дают". Элино́р спросила: "Они здесь, в Нью-Йорке, в Америке?" "Нет, — сказал Генрих, — они там в России. Жена не хотела ехать, а я больше не мог там жить. Вы думаете, потому что я еврей? Конечно, поэтому, но не только поэтому. Жена тоже еврейка, но ей не мешало. Ей ничего не мешало, а мне все мешало. Россия — рабская страна, она тыщу лет была рабской страной и еще тыщу лет будет. Это нельзя объяснить, это надо почувствовать на себе. Русский человек всю жизнь лижет зад своему начальнику и считает, что так и должно быть. А от своего подчиненного требует, чтобы тот лизал зад ему. Так получается цепь в двести пятьдесят миллионов, и каждый упирается своими губами в зад другому. Евреи тоже не лучше, среди них есть такие, которые готовы подставить свои губы в первую очередь, лишь бы не отстать от других, наоборот, если получится, лучше перещеголять. А я не хотел, я никогда никого не целовал в задницу и не буду. Я свободный человек, я хочу иметь свой бизнес и не зависеть ни от Ваньки, ни от Ицика. Было время, я хотел поехать в Израиль. Но поехать в Израиль — это значит зависеть от своего Ицика, а я не хочу ни своего Ицика, ни ихнего Ваньки. Америка — свободная страна, тут есть свои недостатки, чересчур много свободы, дикарь, который вчера только слез с дерева, может в сабвее наложить кучу посреди вагона, и все сделают вид, что так и надо: как же, у нас полная демократия! И не только пассажиры, полицейский пройдет мимо и еще скажет ему: уважаемый дикарь, какайте себе на здоровье! Америку, особенно Нью-Йорк, надо

почистить, хорошо почистить, иначе полицейского револьвера, еще пять-десять лет, будет недостаточно, на улицу можно будет выезжать только в танке, но, с другой стороны, если вы не хотите быть жополизом, никто вас не заставит: допустим, какой-нибудь там Джоэл-Шмоэл Айзеншток имеет в Манхэттене свою фирму, а в Ривердэйле свой замок с бассейном, но в любой момент вы можете повернуться к нему задом и сказать: на, целуй меня в зад, а я больше не хочу с тобой работать, потому что ты не человек, ты толстокожая свинья!" Элинор спросила: "Вы работали у Айзенштока?" Генрих удивился: "Почему у Айзенштока? Я просто привел пример, хотите, вместо Айзенштока, возьмите какого-нибудь Маккормика. Форда, Людвига. Возьмите самого Картера". "О, — Элинор схватила Генриха за руки, — вы прямо атомный котел! Я понимаю, в России вам было тесно, вы задыхались, вы созданы для Америки, вы далеко пойдете!" Генрих пожал плечами: "Что значит далеко? В Америке как далеко ни пойдешь, все равно, кто-нибудь впереди окажется". "Хотите, — Элинор вскочила с дивана, — я вам сыграю Хачатуряна, "Танец с саблями?" Генрих развел руками: "А оркестр где?" Элинор села за рояль: не надо оркестра, она сделала переложение для фортепиано, и получилось, кажется, неплохо. Элинор была права, получилось в самом деле неплохо: у Генриха перед глазами, пока она играла, в диком вихре, сверкая обнаженными саблями, пронеслись голые женщины — не то амазонки, не то валькирии — в бронзовых шлемах, с золочеными пластинами на сосках, с набедренными повязками, собранными из золотых лепестков, которые в зависимости от ритма то взлетали, открывая матовые животы, то опадали, прикрывая их до того места, где должна бы начинаться растительность, но, странно, не было никакой растительности, все было открыто, и Генрих с поразительной ясностью, как будто в анатомическом атласе, видел каждую деталь.

С последним аккордом Элинор замерла на мгновение, круто повернулась, глаза были огромные, одни зрачки, Генрих заерзал на диване, невольно отвел взгляд, Элинор приказала, смотрите мне в глаза, поднялась, подошла к нему вплотную,

села на колени, оттянула лиф книзу, освободила грудь и, поддерживая ее ладонью, соском сунула Генриху в лицо. Сосок был коричневый, шершавый, крупный, как вишня, Генрих приник губами, осторожно, как будто боялся повредить, Элинор процедила: "Зубами, зубами, сделайте мне больно, я хочу, чтобы мне было больно!" Генрих захватил зубами, слегка прикусил, она замотала головой: "Не так, не так, я же сказала тебе, сделай мне больно!" Он стал стискивать зубы, она закричала, сильнее, сильнее, он стиснул сильнее, было ощущение, что сходятся верхний и нижний ряды зубов, он хотел сказать, больше нельзя, опасно, Элинор требовала, еще, еще, внезапно взвыла, схватила его за волосы, он машинально разжал зубы, отвела голову назад, Генрих увидел ее глаза, холодные, злые — в горле застучало: Далила, Далила! — Элинор радостно закричала: "А-а, испугался, мой славянин, испугался!" Генрих возмутился, он не славянин, он никакой не славянин, и пусть, если ей требуются славяне или варяги, ищет себе другого, Элинор засмеялась: "О, хорошая злость, люблю злых!" — схватила его за пояс, расстегнула, запустила руку под брюки, коротко, как кузнечик, стрекотнула молния, тут же, стянув с него трусы, Элинор воскликнула: "О, мой Бог, ты настоящий Барбаросса, Марк Аврелий писал, что вы рыжебородые, голубоглазые!"

Генрих машинально стал поводить задом, Элинор смотрела на него в упор, внезапно в полсекунды содрала с себя юбку, откинулась на спину, развела ноги, Генрих встал над ней на колени, сказал, пусть опустится ниже, ему неудобно, она, напротив, поднялась выше, стиснула зубы, зажмурила глаза, захватила обеими руками его голову и с силой стала прижимать к себе, между ног. Генрих ткнулся губами, носом в горячее, влажное, Элинор закричала: "Не так, языком, глубже!" Вонзила ногти ему в затылок, он стал мотать головой, закричал: "Больно, отпусти!" Но слов не было, было одно мычание, Элинор забросила ноги ему на спину, пятками уперлась в позвоночник, Генрих пришел в ярость — черт возьми, его насилюют! — сделал попытку выбраться из-под ее ног, она еще глубже вонзила свои ногти, как будто уже не пятками, а ко-

пытами, нажала на позвоночник, и тогда, чувствуя одну лишь ненависть, он раскрыл до предела рот, захватил все это мягкое, влажное зубами... Элино́р взвыла, выгнулась дугой, на мгновение ноги ее, сведенные судорогой, сжали Генриху ребра с такой силой, что он стал задыхаться, появился леденящий, какой бывает от удушья, страх, мелькнула мысль, надо схватить ее за горло, надо задушить, иначе она задушит его, но тут же ноги ее ослабели, соскользнули со спины и свалились, как будто вмиг лишились жизни, на диван. Сначала оба лежали недвижимо, потом Элино́р медленно, подушечками пальцев, прошлась у него по затылку, вдоль позвоночника, по плечам, Генрих дивился, куда девались его злоба, его ненависть, было ощущение покоя, ощущение блаженства, как будто вернулся в детство, еще жива мать, и нет на свете опасности — малой, большой — которую не могла бы отвести ее рука.

"Ты ребенок, — сказала Элино́р, — ты дитя, о тебе нужно заботиться. У меня не было детей, я всегда хотела детей, ты будешь моим ребенком, я буду о тебе заботиться, ты будешь послушный, ты будешь любящий сын, и на всем свете для тебя будет существовать только одна женщина: твоя мама Элино́р". Генрих спросил: "Элино́р, сколько тебе лет? Со-рок?" Она закрыла ему рот ладонью и сказала: "Молчи, для любящего сына — мать всегда молодая". Генриха затошнило: "Перестань, я ненавижу кровосмесьство!" Элино́р погрозила пальцем: "О, мой Леона́рдо, ты не хочешь называть свою мать мамой? Она для тебя только Катерина, с блудливой улыбкой Джоконды? Леона́рдо, сын мой, если бы ты не переспал со своей мамой, мир был бы намного беднее, без улыбки монны Лизы". "Перестань! — закричал Генрих, — тошнит, мне плевать на твоего да Винчи, плевать на его Катерину-Джоконду, с ее мерзкой улыбкой, плевать на его мальчиков! Я не кровосмеситель, не педераст, я нормальный человек, и мне нужна нормальная женщина". "Тихо, — Элино́р приложила палец к губам, — успокойся, ты думаешь, ты уже большой, а на самом деле ты маленький, и всегда будешь маленький, и мама Элино́р будет заботиться о тебе". "Слушай, — Генрих

схватил ее за руки, — зачем ты дразнишь меня!" "Я не дразню тебя, — покачала головой Элино́р, — я говорю тебе правду, и ты знаешь, что это правда, но ты хочешь быть большим, тебе надоело быть маленьким, ты хочешь быть большим и независимым, ты приехал в Америку, чтобы добыть себе бизнес — игрушку для взрослых — и убедить себя, что ты на самом деле большой, раз у тебя настоящая, как у взрослых, игрушка".

"Перестань! — закричал Генрих, — я задушу тебя!" Он схватил Элино́р за горло, навалился всем телом, она ахнула, обвила его ногами, правой рукой уверенно, как свое, забрала пенис, завела в себя, протяжно, подавшись вся навстречу, застонала, Генрих стал двигаться взад-вперед, она сказала: "Не торопись, медленнее, хочу долго, хочу, чтоб никогда не кончалось". Генрих замедлил сколько мог. Она сказала: "Еще медленнее, остановись, совсем остановись!" Она перестала двигаться, он собрал все силы, прижался к ней, было ощущение, что не хватает дыхания, воздух сделался разреженный, как на высоте, в горах, наконец, удалось остановиться, она пробормотала: "О, мой мальчик!" У Генриха радостно ударило в грудь — победил, победил! — но внезапно, когда, казалось, миновала уже всякая опасность срыва, в паху, как будто вонзились одновременно миллионы микроскопических жал, пронзительно засвербело. Генрих стиснул зубы, но тут же, нисколько уже не противясь, наоборот, весь во власти невыносимого, мучительно-сладкого зуда, он задергался, заревел, и четверть еще минуты спустя, хотя вполне уже можно было унять себя, продолжал дергаться и реветь. Элино́р закрывала ему рот ладонью, целовала в щеки, в глаза и спрашивала: "Ну, что с тобой, что с тобой, мой мальчик?" Он не отвечал, она обняла его, прижала к себе и сказала: "Я знаю, тебе хорошо. И мне хорошо, потому что тебе хорошо".

Генриху было действительно хорошо: хотелось лежать вот так, на ней, еще час, день, вечность, а Элино́р пусть гладит его, пусть ступает своими пальцами по его затылку, спине, позвоночнику и болтает всякий вздор про свои материнские чувства: в конце концов, ничего зазорного в этом нет, женщина

сохранила заряд нежности, который должна израсходовать, и совсем не так уж плохо, что этот заряд она хочет израсходовать на него. Такое не каждый день: жар-птица сама просится в руки! Деньги у птицы есть, это ясно, тут одна квартира, если не собственная, стоит тысячу баков в месяц, а этот стейнвейновский рояль, а эти зеркала — Генрих внезапно увидел свой голый зад в зеркале, из промежности торчали рыжие волосы, стало немножко не по себе, захотелось опуститься ниже, но Элинор сказала, не двигаться, пусть лежит, как лежал, — с резным орнаментом, индейский что ли, по верхней кромке, тоже, наверное, влетели в копеечку. Черт возьми, сколько надо иметь дурных денег, чтобы превратить собственное жилище в испытательную камеру! Нет, зеркала надо убрать, тут никакой демократии он не позволит — мое, твое, это не имеет значения — жилье есть жилье, не сумасшедший дом. Стены надо будет отделать по-другому. Генрих стал обдумывать, как именно — деревянная панель, обои, лепной бордюр под потолком, если Элинор будет настаивать, можно, индейский орнамент — но тут же он вспомнил, что квартира, пусть даже собственная, в многоэтажном доме, — это вообще не то, нужен свой дом, коттедж где-нибудь в Форист Хиллс Гарденс, на Лонг-Айленде, еще лучше в Найаке, и решил, зеркала пусть пока остаются, в этом сумасшедшем городе найдутся, кроме Элинор, еще любители, а будет коттедж — у себя в спальне, если она захочет отдельную спальню, пусть отделяет стены хоть битыми бутылками, это ее личное дело.

"Генрих, — сказала Элинор, — о чем ты думаешь?" Генрих сказал, он ни о чем не думает, так, шальные мысли, о том, о сем, а в общем ни о чем. Элинор засмеялась: "Мой мальчик, не будь глупышкой, от мамы Элинор ничего нельзя скрыть — ты думаешь о нашем будущем, как все устроится по-твоему, а эта немножечко сумасшедшая Элинор получит свою спальню и пусть тешит там свою блажь". Генрих сказал, это вздор, он вовсе не думал о будущем, он просто наслаждался покоем, какие-то мысли сами лезли в голову, но именно сами, а настоящее мышление — целенаправленный процесс, нужны конкретные данные, а этих данных на сей минут, как говорят

в России, кот заплакал, они опираются только на свою интуицию, а интуиция есть интуиция, далеко на ней не уедешь. "Лгунишка, — Элинор мазнула Генриха ладонью по губам, — сейчас ты пойдешь в ванную и хорошо почищишь щеткой свой язычок, чтобы он не смел говорить неправду". Генрих возмутился: он уже чистил сегодня зубы, но если Элинор кажется, что у него изо рта идет дурной запах, он может почистить еще раз, только не надо намеков, пусть говорит прямо. Элинор сказала, чистил не чистил, не об этом сейчас речь, она действительно хочет знать, о чем Генрих думал, когда молча лежал на ней, это очень важно, чтобы понять человека, потому что произвольные мысли — самые главные мысли. "Слушай! — Генрих отжался обеими руками, чтобы лучше видеть ее лицо, — но это же цензура, это же самая настоящая цензура, еще хуже, чем в России!" "Болтунишка, — сказала Элинор, — разве ты мечтал обручиться с Россией: она не была тебе ни невестой, ни матерью, ты был нелюбимый, ты был гадкий пасынок, и она выгнала тебя". "Болтовня!" — закричал Генрих, никто его не выгонял, он мог жить там еще сто, еще тысячу лет, сколько влезет, все зависело от него. "Нет, — Элинор покачала головой, — не мог: мачеха сказала, ты чужой, ты не мой, иди ищи себе маму". Генрих затряс кулаками: "Это ересь, это полный вздор!" Он повторяет: никто не выгонял его, наоборот, уговаривали остаться, называли изменником, предателем, а он уже не мог, он сам не мог, он бросил все: жену, дочь, работу, квартиру, лишь бы не видеть эти рожи, не слышать их мерзких голосов и зажить наконец, как свободный человек, которому не заглядывают каждую секунду в рот, в глаза: а что он там бормочет, а какие мысли у него! И вот, на тебе, в Америке, он лежит без штанов, с голым задом, и опять то же самое: а какие, мистер Шнеерзон, у вас мысли в голове? "Милый, — сказала Элинор, — ты неправ: я не тебя проверяю, я себя проверяю, я должна убедиться, что понимаю тебя. И хочу убедиться, что ты понимаешь меня". "Допустим, — сказал Генрих, — так что, нельзя было найти другое, более подходящее, время?" Элинор покачала головой, забрала мошонку Генриха в ладони и стала массировать:

"Мой мальчик, это самое подходящее время, мама Элинора дала своему Генриху минуту блаженства и счастлива этим, а гадкий лисенок Генрих обдумывает, как он ловко разделается со своей наивной мамой".

Генрих вскочил, стал натягивать штаны: если в этом доме его считают таким подонком, ему здесь не место! Штанина закрутилась, Генрих прыгал на одной ноге, Элинора поддела его стопой, он упал на диван, она засмеялась — Бог мошенника накажет! — велела сбросить брюки, рубашку, пусть ходит голый, Генрих сказал, он не может, ему неловко, она поднялась, сама раздела его, сняла с себя блузку, обняла его, стала тереться грудью, зажмурила глаза, откинула голову и забормотала: "О, мой маленький, я безумно хочу тебя, возьми меня! Ну же, ну!" Она соскользнула на пол, потянула Генриха на себя, лихорадочно стала тереть его пенис, Генрих сказал, пусть подождет немного, требуется время, мужчина не может так, раз за разом. Но она только мотала головой: "Ничего, ничего не желаю знать, хочу, хочу, ты должен, заставь себя!" Генрих схватил ее за ноги, развел в стороны: вот оно, живое, пунцовое, набухшее, неправдоподобно доступное, с разверстой щелью перед ним! Все тело его во мгновение прохватил сладостный озноб, он заревел и, будто рапирой, в одно мгновение, внедрил в нее. Элинора вскрикнула, губы напряглись, посинели, на щеках проступили желваки. Генрих двигался четко, в ритме отлаженной машины, Элинора забормотала: "Боже, как хорошо, ты сильный, ты, как машина, не останавливайся, пусть так, вечное движение". У Генриха было то же — не останавливаться, пусть вечное движение, представился космос, черное небо, звезды, Земля с двойным своим движением: вокруг собственной оси и по эклипике, вокруг Солнца, потом прибавилось новое, вначале это была просто другая, повышенная скорость, затем скорость обратилась энергией, которая собралась вся под грудью, где средостение, Генрих был уже не Генрих, а козерог, с необъятной, как земной шар, грудью, и этой грудью он толкал перед собой черную Вселенную.

"Медленнее! — закричала Элинора, — ты сейчас кончишь, а

я еще не готова!" Козерог шибал своей грудью Вселенную — бух, бух, бух! — Элинора требовала, пусть немедленно остановится, иначе...

"А-а!" — взревел козерог, дернулся раз-другой и замер. "Подонки! — закричала Элинора, вонзив свои ногти Генриху в позвоночник, — ничтожество! Я же просила тебя остановиться, я же говорила, что ты кончишь без меня! Скотина, тебе плевать на женщину, ты годишься только для одного — быть слугой при собственном хере! У, как я ненавижу тебя! Сваливай с меня к е...матери, еврейский славянин или славянский еврей, черт тебя разберет! Сваливай, говорят тебе!"

Генрих сделал движение, чтобы встать, Элинора охватила его руками за шею и закричала: "Не смей вставать, лежи, ты деревянный чурбан, ты бездушный, ты совершенно не понимаешь женщину. Господи, ну, почему вы все такие тупые! Ну хоть бы слово сказал, хоть бы признал свою вину: прости меня, я виноват, мама".

"Элинора, — сказал Генрих, — ты же интеллигентная женщина, профессор, как ты можешь позволять себе эту базарную брань, хуже последней бабы с одесского Привоза! У Фолкнера, Хемингуэя, Стейнбека женщины говорят по-другому". "Фолкнер, Хемингуэй, Стейнбек, — застонала Элинора, — вспомни еще вашего любимчика Драйзера, вспомни Амброза Бирса, вспомни самого папу номер один, Вашингтона Ирвинга. А мне какое дело! Это у вас, в России, писатели — учителя народа, а мы, американцы, сами себе учителя. И давай закончим, я больше не хочу слышать об этом. И вообще никаких умных разговоров. Я хочу водку пить. Подымайся, будем пить водку!"

Элинора круто повернулась, сбросила Генриха на пол, вскочила и подала ему руку: "Подымайся, мой бойчик!" Генрих встал, машинально прикрылся рукой, Элинора сказала: "Убери руку, хочу видеть тебя всего!" Со всех сторон — лицом, боком, спиной — торчали голые Генрихи, при всем сходстве они были все разные и смотрели, и двигались по-разному. У Генриха было неприятное чувство, особенно, когда встречались взглядами Элиноры, тоже все разные, но все длинноногие, с кру-

тыми задами, были заняты одним делом, разливали водку. Генрих сказал, в доме посторонние люди, он должен одеться, Элинонр нахмурилась, перестань болтать, подала стопку, все Генрихи и Элиноры в зеркалах, каждая пара по-своему, сделали то же, поднесли к губам и выпили все одновременно. Элинонр засмеялась: "Видишь, какие дружные, этим бабам не надо уговаривать своих Генрихов!"

"Слушай, — сказал Генрих, — давай перейдем в другую комнату, я не могу здесь". "О, мой бойчик! — Элинонр прижалась животом к животу, — мой застенчивый бойчик! Я была неправа, я хамка, я не имела права говорить тебе грубые слова. Видишь, твоя Элинонр не такая гадкая, как ты думаешь, она обещает тебе быть хорошей, и она будет хорошей. Ты веришь, мой маленький, правда, веришь! Отвечай, без слов, — Элинонр закрыла Генриху рот ладонью, — и вообще, давай забудем слова: мы же с тобой одно, просто природа разделила нас надвое, чтобы каждая половинка искала другую, а теперь нашлись обе половинки, и мы опять одно". Нет, — сказал Генрих, — он не хочет без слов, он не животное, чтобы мычать и вертеть хвостом. "Хвостик! — обрадовалась Элинонр, — а ну, покажи свой хвостик, я хочу поддержать твой хвостик! Ой, — Элинонр схватила Генриха за пенис, — какой мягенький хвостик, какой маленький хвостик!"

"Слушай! — внезапно разъярился Генрих, — перестань сюсюкать и перестань меня дергать!" Она нахмурилась: "Ты нехороший, ты злой, ты кричишь на свою маму". Элинонр прижалась головой, Генрих ерошил волосы у нее на затылке, за ушами открылись два, параллельно челюстям, шрама, Генрих провел осторожно пальцами, она круто отвела голову, глаза были злые, Генрих смотрел удивленно, спросил, отчего шрамы, Элинонр воскликнула, вздор, никаких шрамов нет, ему померещилось, Генрих сказал, в детстве у него был товарищ, которому делали трепанацию черепа, у него тоже были шрамы за ушами, она засмеялась, глаза стали прежние, без злобы, и забормотала: "Глупыш мой, ты вспоминаешь о детстве, как будто давным-давно уже сделался взрослый, а на самом деле ты еще весь там, в своем детстве". Генрих усмехнулся: "Как

в русском анекдоте, карлик, карлик, но с таким бней!" "Фу! — скривилась Элинонр, — какая гадость, мой маленький не должен говорить гадостей. Она повернулась спиной, прижалась задом, чуть подалась вперед, пропустила руку у себя между ног, забормотала: "А где наш хвостик? А ну-ка дайте нам наш хвостик", — пальцами стала заталкивать в себя. Генрих хотел сказать, еще не время, он не хочет, не может; Элинонр уперлась свободной рукой в рояль, велела ему наклониться, взять ее за грудь, сильнее, как раньше, чтобы она чувствовала боль, грудь была упругая, девичья, Генрих сжал с силой, как мяч для упражнения кисти, Элинонр вскрикнула, чересчур больно, нет, сказал себе Генрих, не чересчур, пусть воет от боли, хочу, чтобы выла, Элинонр застонала; внезапно, между ног, прохватил его озноб, он почувствовал, как растет в ней, стремительно заполняя не только лоно, все тело ее, вонзился зубами ей в плечо, Элинонр закричала утробным голосом — а-а-а! — он ударял ее, как копром, в зад, во рту был у него кусок чужого тела, чужое мясо, хотелось откусить, отдрать его, было ощущение, что нет костей, вся она состоит из крови, из мяса, можно съесть ее, обратить в себя, в свою плоть... "Не торопись! — закричала Элинонр, — я еще не готова, о, святой Иисус, ты кончаешь, я так и знала, что ты опять кончишь без меня!"

Элинонр внезапно отпрянула, Генрих машинально повернулся вслед, липкая, густая струя ударила ей в ногу. "Подонок! — закричала она, — ты обгадил меня своим мерзким семенем!" Генрих, весь еще содрогаясь, стоял с закрытыми глазами, Элинонр размахнулась,хватила его кулаком по носу, он прикрылся ладонью, через секунду на подбородок, с подбородка на шею потекла кровь, он отнял ладонь, пальцы были сплошь в крови, Элинонр сказала: "Иди, бойчик, умойся, а то противенько смотреть". Генрих стоял на месте, смотрел на нее. Она махнула рукой: "Иди, сказано тебе".

Генрих повернулся, подошел к дивану, взял свои брюки, вынул из кармана нож, щелкнул затвор, выскочило лезвие. Элинонр сделала шаг назад, к столику, у стены, оперлась задом, руки сложила на груди, Генрих вытер ладонью кровь,

страхнул капли на пол и сказал: "Я убью тебя, американская сука!"

Медленно, выставив перед собою нож, он двигался на нее, глаза скользили по телу Элинон, выбирая место для удара, первая мысль была, в сердце, но тут же он отказался, сердце не годится, нож может угодить в ребро, он решил, надо ударить справа, в печень, ткани здесь мягкие, промаха не будет, Элинон опустила руки, спросила: "Куда будешь бить, в печень? — покачала головой, — в печень нехорошо, от печени сразу не умирают, будет много крови, будут крики, сбегутся люди". Генрих процедил: "Последние слова твои, сука, говори, все равно не наговоришься". Поднял левую руку, вытер кровь, машинально перевел взгляд на ладонь, внезапно раздался скрежет, ящик стола был выдвинут, Элинон стояла рядом, в правой руке пистолет, ноги вмиг сделались у Генриха не свои, в горле застрял кляп. "Ну, — сказала Элинон, — мой бойчик, что же ты стоишь, иди, мама ждет тебя". Навела пистолет. "Все! — застучало у Генриха в висках, — конец!" "Не все!" — закричало изнутри, из живота, надо обмануть ее, броситься внезапно, она не успеет выстрелить, она промахнется. "Сука!" — завопил Генрих, бросился вперед, раздался выстрел, Генрих выронил нож, схватился руками за грудь, во рту захрипело, забулькало — и шлепнулся на пол.

Элинон перетасила тело на диван, голову уложила на валик, руки ладонями на живот, принесла из ванной влажную губку, вытерла лицо, под носом запеклась кровь, пришлось сходить за спиртовыми тампонами; пока вернулась, голова свалилась набок, из носа выступила сукровица. Элинон уложила голову на место, вытряхнула из пакетика капли спирта, смыла сукровицу, с полминуты смотрела молча — на лице застыла гримаса страдания, под челюстью пятна рыжей щетины, нос желтый, свечной желтизны, губы синие — наклонилась, поцеловала в уголки рта, передвинулась на середину дивана, забрала в обе руки пенис, мошонку, прижалась щекой, зажмурил глаза, несколько раз потерлась, тихонько застонала, улыбнулась, улыбка была, как у слепого, неизвестно кому, неизвестно чему, открыла глаза, увидела нож, встала,

подняла, приставила острием к груди, слева, где сердце, справа, к печени, затем по центру, к пупку, покачала головой, вернулась к дивану, взяла Генриха за руку, разжала пальцы, вложила рукоять ножа, собрала пальцы в кулак, воротила на прежнее место, на живот, острием, как у меча, книзу, опустилась на колени, положила ладонь на лоб, двумя пальцами оттянула веки, зрачки на синей радужке были черны чернотой бездны, чуть привстала, чтобы удобнее было рассматривать, серебряный крест торцом уперся Генриху в губы, Элинон забросила крест на спину, взяла себя за грудь, подала соском вперед, приоткрыла у Генриха губы и стала водить слева направо, прижимая к зубам. Зубы были большие, с просветами, с желтизной, как у лошади.

Генрих открыл глаза, взгляд был безумный, Элинон засмеялась, похлопала ладонью по щеке: "Просыпайся, мой маленький разбойник, пора! Твой ножик у тебя в руках, если хочешь убить свою маму еще раз, убей". Генрих прохрипел: "Где я?" "Ты дома, — сказала Элинон, — у себя дома". Генрих поднял правую руку, увидел нож, спросил, откуда нож, Элинон пожала плечами, баба-яга на метле принесла, Генрих нахмурился, сделал движение, чтобы встать, но не получилось, все тело болело, как будто побили палками, Элинон сказала, лежи, скоро пройдет, Генрих обвел глазами комнату, еще больше нахмурился, взгляд остановился на Элинон, она, как прежде, пожала плечами, показала язык, он снова поднял правую руку, сверкнуло лезвие, ударившись о ребро зеркала, луч рассыпался на красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, Генрих пробормотал: "Вспомнил, я хотел тебя убить, но не успел — ты убила меня из пистолета".

"Убила, — подтвердила Элинон, — из газового пистолета, иначе мой маленький убил бы свою маму, а потом всю жизнь его мучила бы совесть: мальчики, которые убивают своих мам, всегда очень-очень переживают".

Наконец, вернулись силы, Генрих сел, сказал, пусть Элинон подаст брюки, неприятно сидеть голым, он хочет одеться, Элинон покачала головой: куда одеваться, глубокая ночь, пора в постельку. "Нет, — сказал Генрих, — он хочет спать у себя

дома". "Ты у себя дома, — сказала Элинон, — будем спать здесь, на шкуре, — она указала на пол, — это шкура настоящего буйвола. Хочешь, — засмеялась она, — я укутаю тебя в шкуру, и твоя Элинон будет спать с буйволом". "Элинон, — Генрих поднял голову, глаза были тяжелые, — тебе нужна не шкура буйвола — тебе нужен буйвол, тебе нужен не буйвол, тебе нужен его"... "Фу, — Элинон закрыла Генриху ладонью губы, — не надо пошlostей, мой тореро!"

Несколько минут сидели молча, Генрих обнял Элинон, положил голову на плечо, сказал: "Мне хорошо с тобой, Элинон. Ты особенная". Элинон приложила палец к губам: "Молчи". Генрих сказал: "Не могу молчать, хочу говорить про тебя". "Рубек! — воскликнула Элинон, — ты умеешь слушать тишину? Будем слушать тишину".

Она взяла его за руку, положила ладонью себе на живот, подвела к сердцу и спросила: "Слышишь?" "Нет, сказал Генрих, не слышу". Провел пальцами под грудью, слева, справа, опять слева, Элинон внезапно схватила его за руку, отшвырнула и закричала: "Перестань обследовать меня!" Генрих сказал: "Под грудью, слева и справа, два рубца: отчего они!" "Вздор!" — сказала Элинон, никаких рубцов, ему померещилось. Генрих пожал плечами, когда было там, за ушами, ему тоже померещилось, взял Элинон за грудь и сказал: "У тебя грудь, как у девочки. Сколько тебе лет, Элинон?"

Элинон не отвечала, смотрела на Генриха в упор, глаза были круглые, злые, он сказал: "У тебя нечеловеческие глаза, ты филин, ты выходишь на охоту по ночам, ночь — твой день, тьма — твой свет". "Перестань болтать", — сказала Элинон. "Ты переделала свое тело, ты спрятала все швы, остались только рубцы — четыре рубца". "Замолчи! — Элинон кулаками ударила его в грудь, — я убью тебя!" "Ты прекрасна, — сказал Генрих, — ты самая молодая, я хочу целовать твои рубцы". Он приподнял левую грудь, прижался губами, Элинон застонала, схватила его руками за голову и забормотала: "Мальчик мой, я гадкая, я отвратительная, я не стою тебя!"

"Ляг на живот, — приказал Генрих, — я хочу тебя!" "О, — застонала Элинон, — какой властный у тебя голос: приказывай,

еще приказывай, твоя Элинон хочет, чтобы ты приказывал!" Она легла на живот, развела ноги, Генрих по-кавалерийски взгромоздился на нее, стиснул коленями зад, захватил руками талию и стал двигаться взад-вперед, сначала по прямой, затем по эллипсу, с очень вытянутым в продолжение позвоночника фокусом. Двигались минуту — другую, Элинон сказала: "Я не чувствую тебя, ты не во мне". "Подожди, — ответил Генрих, — я хочу тебя, очень сильно хочу, сейчас будет!" — Он действительно хотел, казалось, вот-вот еще секунда, еще мгновение, и будет, как должно быть, но тут же, едва начинал он подъем, все опадало в нем, он снова подстегивал себя, концентрировал внимание целиком на нем, своем желании, но всякий раз все повторялось сызнова, росли досада, стыд, тяжелые, унижительные, как в детстве, когда не мог догнать, не мог поднять, не мог перепрыгнуть, хотя все вокруг — не только мальчики, девочки тоже — и догоняли, и поднимали, и перепрыгивали.

"Ну же, — твердила Элинон, — где ты, я не чувствую тебя, где ты! Ты говорил, что сейчас будет, никто не заставлял тебя, ты сам говорил, где же ты!"

Генрих не отвечал, он двигался все яростнее — взад-вперед, по прямой, по эллипсу, по кругу, Элинон пальцами, мяла, дергала его пенис. "Господи, — проносилось у Генриха в голове, — помоги, не чуда же прошу, естественного прошу! Не, — взревело в ушах, — не прошу, а хочу, слышишь, хочу, своего хочу, не чужого, своего!" В висках, в затылке лопались стеклянные трубки, осколки изнутри впивались в глаза, воздух сделался ледяной...

"Милый! — застонала Элинон, — ты во мне, теперь вместе, еще чуть-чуть, вместе, о мой Бог, вместе!"

Генрих навалился всем телом, Элинон схватила его за колени, прижала к себе: "Не смей, ты уходишь!" Тело было невероятно тяжелое, Элинон на миг замерла и вдруг завопила: "У тебя ледяные колени, ты ледяной, сойди!" Она круто повернулась, Генрих свалился на пол, звук был гулкий, как будто ударили деревом по дереву. Элинон вскочила — в голове, словно ударили в колокол, гудело: умер! умер! — подбе-

жала к телефону, набрала 911, но тут же бросила трубку: придет полиция, надо хоть трусы натянуть, на него, на себя, начнется дознание, пойдут idiotские вопросы, она терпеть не может вопросов — кто? что? почему? — как будто без вопросов не видно, что никакого преступления, просто несчастный случай, инфаркт, инсульт, что-то лопнуло у человека внутри, и надо искать там, внутри, а не выматывать душу у женщины своими тупыми полицейскими домыслами.

Она вернулась к Генриху — зубы в оскале, в щелях, из-под век две полоски фарфора, пальцы скрючены, правая нога откинута, мошонка синяя, плоская, все как будто от разных тел, наспех, кое-как приставлено — встала на колени, хотела приложиться ухом к груди, но увидела капельки пота, ударил едкий, луковичный запах, закружилась голова, затошнило, было ощущение, вот-вот ее вырвет, сделала глубокий вздох, повторила раз, еще раз, тошнота отступила, во рту остался лишь солоноватый привкус, взяла Генриха за руку, положила большой палец на пульс, было ощущение какого-то движения, не биения, биения не было, а мерцания, то угасающего, и тогда внутри все у нее замирало, то явственно усиливающегося, сердце гулко ударяло в грудь, Господи, — шептала она, он жив, пусть он будет жив, он должен жить, покойник, у нее в доме, это ужасно, это гадко: Господи, он должен жить!

Она вытерла пот у него со лба, положила ладонь на левую грудь и стала медленно растирать, пальцы сделались липкие, она вспомнила про губку, губка была здесь, на столике, поднялась, опять мелькнула мысль про амбуланс, надо вызвать, в конце концов, плевать ей на полицию, все равно, если умрет, не миновать дознания, но тут же передумала, нет, лучше подождать, не обязательно инфаркт, не обязательно инсульт, при инсульте синеет лицо, а здесь никакой синевы, наоборот, бледен, и вообще, почему инфаркт, почему инсульт, молодой, сильный, может, просто обморок, надо дать ему нашатыря, в аптечке должен быть пузырек с нашатырем, если не поможет, тогда — 911: амбуланс, полиция, черт, дьявол! О Боже, за что ей такое наказание! За что!

Аптечка висела в ванной, Элино́р открыла пузырек, в нос

ударил пронзительный, как застоявшаяся моча, аммиачный запах, она тут же заткнула, все равно шибало так, что набегали слезы, и помчалась обратно, в гостиную. Едва ступив на порог, она в ужасе прыгнула назад: из зеркала, напротив, во весь рост, руки на груди, пенис торчком, смотрел на нее Генрих, а тот, другой, которого она оставила, нелепый, длинный, лежал на полу. Первая мысль была бежать в спальню, закрыться, звать на помощь, но, чуть успела повернуться, твердое, круглое, тяжелое ударило ей в затылок, пол перед глазами встал стоймя, хлопнул со всего маху по лицу, из глаз, как метеорный каскад, хлынули в черноту мириады искр и во мгновение погасли.

Склонясь над Элино́р, Генрих держал у нее под носом платок с нашатырем. Она спросила: "Ты?" Генрих усмехнулся: "Нет, не я". "Ты смеешься, — сказала она, — если бы ты знал, что я пережила! Я думала, ты умер, а потом появился тот, другой". Генрих нахмурился: "Какой другой?" "Ты — другой, — сказала Элино́р, — один, бездыханный, лежал на ковре, а другой шел на меня из зеркала, и все у него было, как у тебя, и это, Элино́р указала глазами, было, как у тебя". "Не люблю чертовщины, — сжал кулаки Генрих, — что за он, если ты говоришь, что это был я!" "Не знаю, — сказала Элино́р, — вас было двое, мне казалось, я схожу с ума". Генрих поднялся, со всех сторон — лицом, боком, затылком — стояли Генрихи, у ног их лежали Элино́ры. Он сказал: "Это не комната, это камера инквизиции. Зеркала надо убрать".

Элино́р закрыла глаза, вид был усталый: "Безумно хочу спать. Ложись, будем спать". Генрих сказал: "Ночью люди спят в кроватях, хочу спать в кровати. Постели". "Нет, — покачала головой Элино́р, — будем спать здесь, на шкуре, и шкурой укроемся". Она принесла шкуру. Генрих спросил: "Тоже буйвол?" Элино́р не ответила, бросила шкуру на пол и сказала: "Ложись!" Генрих лег, Элино́р легла рядом, приткнулась лицом к груди, через минуту заворочалась и оттолкнула его рукой: "Можно задохнуться, иди в ванную, прими душ". "Слушай! — сказал Генрих, — я могу вообще уйти". "Иди в ванную, — повторила Элино́р, — прими душ и спрыснись под мышками!"

Генрих вернулся через четверть часа, Элинор спала, он выключил свет, она пробормотала, не надо выключать, пусть горит. Он сказал, не могу спать при свете, ночь есть ночь, не надо, пробормотала она, пусть горит.

Он лег, она приткнулась, как прежде, лицом к груди, левую руку сунула ему между ног и сказала, пусть положит свою ей между ног. "Плотнее! — она чуть приподняла ногу, — еще плотнее. Не надо сгибать большой палец. Наоборот. Теперь хорошо".

Часы пробили два. Элинор спала, Генрих лежал с открытыми глазами, вспоминалось прошлое, у прошлого не было протяженности, все прожитые годы — Россия, Италия, Америка — были, как секунда, миг, короче одного этого вечера. Человеческая жизнь — лотерея: вчера этот засранный еврей Айзеншток выкинул его с работы — работа, смешно сказать! — а сегодня он спит с американкой, которую Айзеншток со всеми своими долларами может целовать в одно место.

Интересно все-таки, сколько ей. А впрочем, не все ли равно: с косметикой, с хирургией, на несколько лет ее еще хватит, а там посмотрим. За это время он твердо станет на ноги: одно дело Генрих Шнеерзон, нищий эмигрант из России, другое дело Генри Шнеерзон, американский бизнесмен. С бизнесом тоже надо будет по-новому решать: при такой бабе, при таких деньгах...

Проснулись в десять. Ужас, — сказала Элинор, — она никогда не вставала так поздно. Генрих зевнул, потянулся: "Десять минус два — восемь, нормально". "Тореро, — сказала Элинор, — ведите себя пристойно, вы не на скотном дворе". "В чем дело? — спросил Генрих, — хозяйка встала с левой ноги?" "Ни в чем, — сказала Элинор, — как спалось?" Генрих повторил: "В чем дело?" "Дело? — удивилась Элинор, — какое дело? Ты же дрыхнул всю ночь, как служивый с похода." Генрих засмеялся: "А разве до двух служивый не был в походе!" Ладно, — махнула рукой Элинор, — таких, как он, у нее было трое, но они умели не только дрыхнуть, они умели кое-что делать. "Ясно, — Генрих хлопнул себя по ширинке, — не пошли в корень, но умели делать наполеондоры, и эти на-

полеондоры оставили своей Элинор". "Да, — подтвердила Элинор, — оставили, а ты ничего не оставишь, это я знала, но ты ничего не можешь дать, это я не знала". "А теперь, — спросил Генрих, — знаешь?" "Теперь, — сказала Элинор, — знаю". "Что же тебя не устраивает, — спросил Генрих, — длина, толщина, плотность?"

"Одевайся, — сказала Элинор, — мне некогда". "Что значит некогда, — возмутился Генрих, — позвала кобеля для случки, а теперь пинок ногой, пошел вон!"

"Ладно, — сказала Элинор, — оставайся, за тобой придут. Гуд бай!"

"Сука! — закричал в дверь Генрих, — у тебя же бешенство матки, тебе в крематорий пора, я ненавижу тебя, ты скотина, ты подлее Айзенштока! Я ненавижу вас! Всех ненавижу!"

Внизу, у фонтанчика, ждал швейцар: "Доброе утро, сэр!" Проводил к выходу, открыл дверь, осклабился: "Пусть у вас будет хороший день, сэр!"



Дмитрий МАЛКИН

## НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

### НЕВСКИЙ И КАРЛО РОССИ

Как смычком маэстро Россини,  
так рейсфедером Карло Росси  
дивный план столицы России  
набросал,  
а потом забросил.  
Думал: Северная Пальмира  
из другой половины мира,  
значит Северное сиянье  
не должны терять россияне.  
А открытые солнцу пьядцы  
не годятся: снегов боятся.  
Но зато он успел с блеском  
площадьями раскрасить Невский.  
Карнавальные танцы камня,  
стены зданий — серые ткани,

их узоры — римские фрески.  
Форум, атриум — это Невский.  
Но проспект всероссийской столицы  
продолжали иные лица.  
Архитектор имел желанье  
все оставить, как в росьевском плане,  
но купец и поэт, и воин  
должен быть жилищем доволен.  
Только линия не исчезала —  
видно так ей рука наказала.  
Крылья чаек касались линии,  
зимы ей не казались длинными,  
лета не были слишком жаркими.  
А подошвы шаркали, шаркали...  
Путь, пробитый сквозь лес от Лавры  
к рыбам, лодкам — в морской простор.  
На фронтонах Христос и Гор,  
под балконами: марфы, марвы,  
в барельефах: лотос и заяц,  
каравай средь нотных листов...  
А висит он, земли касаясь  
лишь опорами чутких мостов.

Сегодня давайте спросим:  
— Вы довольны, синьор Росси?  
Из широкой каменной ложи  
он театром своим любуется.  
Белой Ночью Росси моложе,  
но ворчит на всю свою улицу:  
— Почему не играют Россини  
про любовь Линдора к Розине?!  
Вы про Невский? Могу часами,  
только лучше судите сами.

**ПАВЛОВСК**

Кто в разноцветные аллеи  
нас завлекает?

Мы идем

и легкой осенью бодем,  
и дождь по чайной ложке пьем.

Уже не верим в перемены,  
уже глядим со стороны  
на все надежды и измены  
без радости и без вины.

И на себя: среди луж виляет,  
словами напрягает рот...

А осень всех благославляет  
дождем, сияющим с высот.

Да осенит нас луч нежаркий,  
да отразят еще хоть раз  
и листья, и ограда парка!

И слезы мраморная Парка  
кропит из неподвижных глаз.

**Б. ОКУДЖАВЕ**

Музыка осени — тишина.

Холодно. В утренних кленах  
виолончельная ветра струна —  
может, хоронят влюбленных?

Скрипки далекую грусть донесли  
через небесные щели —

может, у самого края земли  
кто-то качает качели?

— Дерево, брат мой, дождемся весны.

Худо нам в Парке Культуры —  
может, поэтому нынче грустны  
влажные партитуры?

Не надо быть мудрей, чем эта осень.

Остановись, подставь ладонь теплу  
и пожелай восторженным и босым  
идти по травам от ствола к стволу.

Как в первый день от сотворенья мира,  
покой придумай, суету гони.

Деревья станут посохом и лирой —  
молчащие все выразят они.

Но дождь... Но ветер... Налетит, впитает  
и тишину, и парк, и водоем...

Как холодно.

И в крайность мир впадает —  
не эту ль крайность осенью зовем?

\* \* \*

Когда мне становилось худо  
и за другими не успеть,  
я не просил, чтоб сбылось чудо,  
а выходил в Большой проспект.  
Там был мне и зимой, и летом  
ненадоедливо знаком  
узор калитки и балкон  
под кровлей с лепкою нелепой.  
Я башмаками рассуждал  
и шел, усталость разминая,  
не ждал попутного трамвая,  
и он катил — меня не ждал.

Все разъяснялось, бытие  
вмещалось в "хорошо" и "плохо"  
И были квиты мы с эпохой:  
ей до меня — мне до нее...

Взойти на мост, раскрыть Залив  
и вод закатную полуду,  
и хохотать, и верить чуду:  
вот — мир, вот — я.  
Устал, но  
жив!

### ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ

Зачем фантазии Трезини  
на русский берег занесло?  
Вот ловит Мальчик в небе зимнем  
крылом закатное тепло.  
Внизу по снежному болоту  
плывут прожекторов круги,  
и слизывают позолоту  
лучи с мальчишеской руки.  
Застыли старые строенья,  
Кронверк снегами занесен,  
недвижных улиц построенье —  
на триста лет продленный сон.

И только Мальчику не спится:  
то вспомнит что-то и вздохнет,  
то ветер к морю повернет,  
и горизонт в глаза вонзится;  
то с площадей, с бульваров сонных,  
от заторможенной Невы  
клеочут белые грифоны,  
торопят каменные львы:

— Эй! Убежим!  
Здесь - Север, стужа.  
Моря зеленые теп-лы-ы...  
— Где ж мне!  
И крылья тяжелы,  
и шарик под ногами кружит.

\* \* \*

*Ю.А.М.*

До сыта пировали,  
вот остались одне;  
словно в белом трамвае,  
укачало во сне.  
Только нежность больная  
растревожит опять:  
ты такая родная —  
никому не разнять!  
Только в полночи двое,  
да двоих не найдешь:  
ты с раскрытой Невою  
по гранитам бредешь,  
Я свой час коротаю  
у священной Стены:  
то молитвы картавлю,  
то реву без вины.  
Из священного града  
в коммунальный мой храм  
возвращусь.  
Все неправда!  
Нет непознанных стран.  
Только сон — настоящий  
да комарик ночной,

да наш ангел, сопящий  
там, за книжной стеной.

\* \* \*

Уже трамваи отошли ко сну,  
но Городу покоя и не слышится:  
как будто должен написать весну,  
да вот, не пишется.  
Не пишется, но март уже пронес  
треугольную капель над партитурою.  
А холод вновь. И, словно спящий пес,  
подрагивает мост под снежной шкурою.  
А через прорубь пены перелет,  
и голуби с гранитной пьют тарелки...  
Ростральный дед, кряхтя, сползает к Стрелке  
и трогает осунувшийся лед.



*Илья БОКШТЕЙН*

## СВЕТ НА СНЕГУ

Думал: нет дружбы прекрасней,  
Вдруг прикоснулась едва,  
Чудом нескромного счастья  
Чудно глаза отвела.  
Вспыхнули щеки, смутилась,  
Сжала перчатка цветок,  
Чистая дружба укрылась  
В детстве — нырнула в поток.  
Где глубина океана?  
Утренний свет на снегу,  
Другом тебе я не стану,  
Но разлюбить не могу.

Ты скажи мне, скажи отчего  
Не найти мне покоя нигде?  
Мы сошлись только раз на тропе.  
Только раз мы ушли далеко.  
Эту встречу с собой унесу,

Только раз мы остались одни,  
Только раз где-то в темном лесу  
Провожали нас волчьи огни.

Мы же встретились случайно,  
А решили навсегда  
Будет дружба беспечальна  
И любовь как никогда,  
Познакомившись поглубже  
С обоюдной новизной,  
Мы решили: будет лучше  
Познакомиться с другой,  
За порогом полутайны  
Разногласья улеглись,  
Мы же встретились случайно,  
Полюбовно разошлись.

Я вошел: ты смотришь будто в сторону,  
Что там, за окном — весна иль снег?  
Снисходительно мне: помнишь Настю Ворову,  
Ту, которой Ясноглазов сплел сонет?  
Что тебе до Насти, моя зубинка?  
Я же аки агнец пред тобой,  
Рот мой, ошалевшая посудинка,  
Ищет нос твой, нежно, с наглечей,  
Что смеюсь я, это ж априорно,  
Я готов взреветь, если в очко  
Проползет слеза моя проворно,  
Прослезив твой жесткий седцеком,  
Посочувствуй символично поцелуем.  
Я взорвусь, как прыщ в мозгу слона.  
Всю тебя от счастья изгрызу я,  
Хоть и не ужился в грызунах,  
Почему до ужаса немило  
Смотришь и намек иной не дашь?  
Я ведь мог бы взять тебя и силой,  
Да боюсь, пожалуй, в суд подашь,

Вижу: грусть улыбка изогнула:  
Я хотела бы сказать... И смолкла вдруг,  
Вырвав листик, трубочкой свернула,  
Из блокнота мистика мигнула,  
Авторучкой описала круг.

Брысь! Метнулась будто рысь,  
С койки кубарем катись,  
Под кроватью прошипипи:  
Мы опять одни опилки.  
Страхивает уши, замечает след,  
Вкрадываясь в душу, в окна душный свет.

Быть может, ты сейчас одна,  
Быть может, ты уже вздыхаешь,  
О том, что может тишина  
Обманчивой быть замечаешь,  
Я главного-то не сказал,  
Зачем обиняки здесь, знаешь?  
На что бы ты не намекал,  
Не лаской, лампочкой мигаешь.

### РЕВНОСТЬ

Знать безверья болезнь исцелилась,  
Подозренье в себе истребя,  
Плачу я, крокодил, задушивший невинность,  
Будто зверь, увидавший себя.

Почему любимого улыбка обезьянит?  
Он разлучницы ласкает хищный нос,  
Накажу я их, и себя, и весь свет  
Под глазами вагонных колес.

\* \* \*

Напишу еще немного,  
Напишу с такой тоской,  
Что земля раскроет тору,

Обнажит мне череп свой,  
 Расскажи, души темница,  
 Что мне делать с сиротой,  
 Что в дали чернеет птицей,  
 В тучи клюв закутав свой.  
 Голова, что колокольня,  
 Лишь вопросы городит,  
 В лоб небес произвольно  
 И рассеянно звонит.  
 Говорят, я — Бог поэтов,  
 Царь Бумаг, не маг ведь, нет!  
 Ведь поэтов тьма, а нету  
 Мне подруги — беден свет,  
 А душа так много хочет,  
 Что поделаешь — судьба,  
 Дни становятся короче,  
 Многоточьем спит мольба  
 Многозвездной ночи.

#### ЕВРЕЙСКАЯ МЕЛОДИЯ

Бегут, бегут за годом годы,  
 Текут, текут за море воды,  
 Вдали уходят пароходы,  
 И каждому горит, горит своя звезда.  
 Иду ко дну, а ты не светишь,  
 Всю ночь прожду, но ты не встретишь,  
 И на вопрос мой не ответишь,  
 Как будто ты меня не знала никогда.  
 Кому ты душу подарила,  
 Кого ты телом напоила,  
 А может просто позабыла,  
 Ты забываешь все без боли и стыда.



Марина ГЛАЗОВА

#### ЗАПАХ ХЛЕБА И ПЛЕСЕНИ

Запах первого снега.  
 Запах хлева.  
 Запыхавшейся талой весны  
 и наивных ручьев ее бега.  
 Моря. Прелой листвы. И сосны.

Запах хлеба и плесени.  
 Глупых сплетен. Рождественских  
 елок. Кудесников.  
 И насмешек ровесников.

Шишок. Шепота. Хвои. Жары.  
 Слез березовой белой коры.

И волхвов. И тебя неизвестного.  
 И цветных моих стеклышек треснутых.

Чердака. Чая. Дыма. И горечи.  
 И дождя. И отчаянной полночи.

Стоит перекличкой трамваев.  
Трамваев и колоколов.  
В ушах моих. Не отступает.  
Держась содержанием снов.

Как только глаза закрываю,  
мне грезится сад. И в саду  
земля облегченно вздыхает...  
В каком это было году?

Курилось, клубилось сиренью,  
тюльпанами, вербой, дождем,  
и розовым пахло вареньем,  
улыбкой, грудным молоком.

Акацией желтой светилось.  
Черемухой сыпало снег.  
И тополем мягким пушилось —  
платком оренбургским для всех.

И ты — у сирени на страже —  
чтоб ветки ее не ломать.  
Я помню, ты плакала даже,  
пытаясь ее защищать.

Остановились  
все песочные часы.  
Как будто все  
Господним Временем  
забилось.

Стеклись все слезы  
реками земли.  
И сердце мира  
в море  
превратилось.

Стеклись все слезы,  
реки, времена.  
Еще минута до начала  
потопом  
хлынувшего  
Суда.  
И бьются лодки у Причала.

Как страшно говорить слова —  
они сбываются!

И как ни заклинать себя —  
они срываются!

И вот непоправимо все —  
и все ломается!

И вот — как чудом — говорят  
вдруг все спасается!

Надежду подавляла неизвестность.  
Вороний подавала крик окрестность.  
И продавала имена безвестность.  
И предавала край земли отвесность.

И встретила сама с собою юность.  
И проявилась сапожков непарность.  
И поседела за ночь первозданность,  
способная сама на покаянность.

И в вечность порывалась ежедневность.  
Над легкою землей плыла напевность.  
Над скорбной нивой низилась нагорность.  
Над светлым горем высилась покорность.

С. В. МЕЛЬНИКОВ

## ТЕКСТЫ И КОД КОММУНИЗМА

### *Заметки о большевистской ментальности*

До последнего времени ученые, занимающиеся изучением коммунизма в СССР, работали, главным образом, над описанием исторического материала и достигли в этом значительных успехов. В этой работе мне хотелось бы начать обсуждение большевистской ментальности — специфического склада ума и психологии, то есть представить ту картину мира, которая сложилась в рамках большевистского, шире — коммунистического движения, и на основе которой моделируется поведение партии в целом и ее членов в отдельности.

Начинать, вероятно, удобнее всего с отношения большевистской партии, как "части", к "целому"; при этом в качестве целого предлагается рассматривать государство. Теоретически можно было бы взять за целое, внутри которого существует партия, общество, нацию или класс, чьим авангардом компартия себя объявляет. Выбор нации в качестве целого лишь затруднит нашу работу: в силу исторической специфики большевизм возник в многонациональной империи, где с самого начала партия функционировала не в рамках нации, но в рамках более широкого единства. Отношения партии с обществом — предмет для изучения крайне интересный, но эти отно-

шения не фиксируются законодательным образом, а потому обсуждение проблемы в этом ракурсе обрекает нас на некоторую нечеткость, чего хотелось бы избежать. Если же выбрать для исследования пролетариат, то придется признать, что большевистская партия конституировалась теоретически и практически не внутри рабочего класса, но вне его: этот постулат сформулировал Ленин, объяснивший, что цели партии куда шире, нежели возникающие естественным ("стихийным", как он говорил) путем цели пролетариата. Следовательно остается только одно — изучать отношение большевистской партии к государству.

### КТО УПРАВЛЯЕТ СТРАНОЙ

В работах последних лет неоднократно высказывалось недоумение по поводу тех или иных шагов СССР и его руководства: слишком бессмысленными или иррациональными выглядели их решения. Однако при этом оставалось не вполне ясным, о каком руководстве конкретно идет речь. Имеется ли в виду правительство страны или олигархическая группировка, возглавляющая партию? Наконец, какими путями разрабатывалось то или иное решение, подписанное позднее тремя именами? Эксперты, работающие для западных правительств или организаций, дают на эти вопросы ответы прагматического характера, информируя своих заказчиков, что такое-то решение было принято по инициативе одного из партийных начальников, затем под его давлением и при стечении определенных обстоятельств предлагаемое решение было утверждено советским руководством.

На уровне практики эксперты хорошо знают, что работая с СССР, они имеют дело не с единым аппаратом, но с несколькими структурами. На первом плане видны представители государства, ответственные за различные секторы управления страной: Совет министров, МИД, органы планирования, министерства... За ними — далеко в глубине и не всегда отчетливо — виден теневой аппарат партии, единственный полноправный хозяин СССР. Факт сам по себе не новый, ибо он отражен

во всех основных документах Советского Союза. Не думаю, однако, чтоб этот факт получил исчерпывающую интерпретацию. Абсолютное главенство партии прокламируется ежедневно и совершенно открыто. Все газеты издаются, как сказано в подзаголовках, соответствующими партийными и только потом государственными органами (кроме одной только "Литературной газеты" и ее аналогов в союзных республиках). Любая титуляция крупных лиц в советской иерархии начинается с их партийных званий и кончается государственными, если они есть у данного лица. Теневой партийный аппарат наделен самыми широкими полномочиями и пользуется исключительными привилегиями в стране. Его сотрудники оплачиваются куда лучше, чем люди на соответствующих уровнях в любом секторе государственного аппарата. Только партийным чиновникам принадлежит последнее слово при выработке любого решения.

Но им же принадлежит и первое слово. Разработка решения, как правило, начинается по инициативе партийного аппарата. Если инициатива исходит откуда-либо еще, то она будет оставлена без внимания до тех пор, пока партаппарат не заинтересуется вопросом. Затем партийные чиновники привлекают к изучению проблемы экспертов из госаппарата. Потом высший партийный орган района или страны в целом утверждает их решение. И только после этого оно торжественно фиксируется на первом плане — в государственном органе соответствующего уровня.

Последний акт представляет собой уже настоящий спектакль, поскольку его государственные участники работают по жестко установленному сценарию без права на малейшее отклонение от заданной программы. Поэтому, если опытные советские граждане желают подтолкнуть решение какого-либо вопроса, они пишут в обкомы, ЦК республиканских компартий или сразу в московский ЦК (на жаргоне это называется "войти в ЦК"), понимая, что все остальные органы в стране — ширма для деятельности партии.

Есть ряд решений, которые в СССР носят характер закона. Например, экономические планы на год и на пять лет. Ни один

из чиновников государственного аппарата не смеет исправлять экономические планы. Он не захочет нарушать закон страны. Партаппарат, напротив, довольно часто вмешивается в реализацию экономических планов и изменяет эти планы по своему желанию. Например, заря американо-советской разрядки привела к договоренности об американской помощи в строительстве завода для производства грузовиков КАМАЗ. Срочный характер договоренности заставил партийный аппарат, который является главным действующим лицом в процессе разрядки, немедленно скоординировать государственным органам, чтобы последние перекачали финансовые средства на строительство автомобильного гиганта. Для такого огромного строительства пришлось изъять средства из других секторов экономики вопреки плану, то есть закону страны. Ущерб, нанесенный плановому хозяйству СССР, подсчитать, не имея доступа к строго засекреченной информации, невозможно. Но можно приблизительно представить себе масштабы этого ущерба.

## ЗАКОН И ИНСТРУКЦИЯ

Наряду с существованием параллельных аппаратов в СССР следует отметить наличие параллельных законодательных систем. О противоречиях между Конституцией, основным законом, и многими отдельными законами писали советские диссиденты. Между тем, "честный советский гражданин" никакого противоречия здесь не видит: конституция страны — текст декоративный и входит в целую систему рекламных мер, осуществленных в СССР. Советские законы — это реальная узда, смиряющая порывы к свободе в подлинном смысле слова. Кроме того, советские люди в той или иной степени знакомы с совершенно отдельной системой инструкций. Открытых или закрытых, которые и есть по существу законодательная основа жизни страны.

Нет закона, запрещающего эмиграцию из советского государства в другие страны или поселение граждан в тех районах, где им хочется. Но есть инструкции, разработанные в партаппа-

рате, которые довольно трудно прочесть и страшно нарушить. Эти инструкции разработаны некоей комиссией в рамках ЦК КПСС (куда были привлечены для консультации эксперты из других ведомств). Все государственные органы, занятые формально проблемой эмиграции, выполняют роль совершеннейших манекенов, они — телефоны, передающие заинтересованным людям, какое решение по их вопросу вынесли анонимы из партаппарата. Нет закона, позволяющего перлюстрировать всю переписку советских граждан с заграничными адресатами. Но есть твердые и недвусмысленные инструкции, по которым вскрываются любые образцы корреспонденции, направленной в СССР и за границу. Зачастую законы прямо противоположны инструкциям. Тем хуже для законов, потому что инструкции, разработанные в недрах партийного аппарата, — вещи весьма реальные, а законы государства — по большей части фикции рекламного порядка.

Определить относительную важность инструкции довольно легко: чем более она известна, тем она фиктивнее, незначительнее. Чем выше степень секретности, тем важнее инструкция: отступление от нее при осуществлении любых дел грозит самыми серьезными карами для любого гражданина СССР. Общее законодательство страны, правда, не всегда распространяется на членов партии. Совершая преступление, член партии может уйти от наказания, если его позиция в иерархии достаточно надежна. Бывший секретарь грузинского ЦК Мжаванадзе, повинный в серьезных преступлениях, не был судим и даже не подвергался конфискации незаконно приобретенного имущества. В других случаях коммунист еще до суда и официального следствия исключается из партии, и его судят как обычного гражданина СССР. Партия же, подобно жене Цезаря, должна быть вне подозрений.

Естественно, любые мероприятия партии оправдываются в СССР государственными интересами. Между тем, возникает простой вопрос: могут ли граждане СССР выдвинуть на обсуждение какой-то вопрос, если с точки зрения партии сам этот вопрос является антисоветской пропагандой. Стараясь замаять его, партийные вожди обычно приводят примеры, сви-

детельствующие о совпадении партийных и государственных интересов (укрепление военной мощи СССР, внушительный рост промышленного потенциала и т.д.). Если гражданин страны пожелает просто высказать свое мнение по поводу некоторых предпочтений в экономическом развитии страны (например, предложит развивать преимущественно не военную промышленность, а сельское хозяйство), то работники партии постараются переселить его в концлагерь или в психиатрическую больницу. Многочисленные материалы "Хроники текущих событий" свидетельствуют о том, что партия никому не может позволить самостоятельно интерпретировать интересы государства, потому что в этом случае обнаружилось бы расхождение ее интересов и интересов целого.

### **ПАРТИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА**

Вся система советского образования обязательно на каждой ступени предусматривает массу учебных часов, посвященных идеологической индоктринации. Следует отметить два аспекта данного процесса. Во-первых, огромная армия преподавателей марксизма кормится за счет государственного бюджета, пожирая массу финансовых средств и не принося государству никакой пользы. Во-вторых, подготовка специалистов (врачей, инженеров, физиков и т. д.) ощутимо страдает, поскольку много времени и энергии тратится совершенно непроизводительно. Советский специалист по сравнению с его западным коллегой в процессе обучения теряет много времени на непрофессиональные занятия. Следовательно, средства, затраченные государством на подготовку специалиста, по двум причинам, упомянутым выше, не дают желаемого эффекта для государства. Но партия с этим не считается и тратит бюджетные ассигнования на идеологическую обработку. Совершенно ясно, что имеется в виду "промывание мозгов" будущим специалистам, чтобы обеспечить их лояльность по отношению к партии за счет государства.

Этот пример не носит драматического характера, но легко вспомнить и другие факты. Террор двадцатых и тридцатых годов (а позднее и сороковых), направленный, в частности,

против квалифицированных специалистов в области экономики, инженеров, ученых, писателей, художников, короче — против интеллектуальной элиты страны, этот террор с точки зрения государственной был самоубийственным шагом. Его проводили в интересах партии и при полном одобрении большинства ее членов. Партийцы убирали потенциальных конкурентов, способных руководить страной или отдельными секторами ее жизни. Политическая лояльность будущих жертв (например, их патриотизм, желание работать для государства) не принималась в расчет, потому что все они не были на сто процентов партийными людьми в представлении аппарата компартии того времени. Позднее вожди ВКП (б) предприняли еще более опасный, с точки зрения государственной, шаг: децимацию армейского руководства. На этот раз террор был обращен против сугубо партийных людей, глубоко преданных лично Сталину. Но и они не соответствовали тому стандарту партийца, который уже сложился в среде партийного чиновничества. Поэтому в 1937 году аппарат партии без возражений участвовал в уничтожении элиты офицерского корпуса. Тот факт, что накануне войны и научно-технической революции страна осталась без жизненно необходимых ей специалистов, партийный аппарат не остановил. Его интересы пришли в явное противоречие с интересами государства, которое оказалось в проигрыше.

Но и уничтожение военных специалистов, едва не погубившее советское государство в период войны, не идет ни в какое сравнение с уничтожением миллионов специалистов — среднего уровня, как сказали бы сейчас, — в области сельского хозяйства. Если во время войны и позднее нехватку военных кадров сумели восполнить, то потери сельского хозяйства компенсировать не удалось до сих пор. Многочисленные пленумы ЦК, заводы химических удобрений, ирригационные сооружения, выстроенные по большей части руками заключенных, не помогли возместить потерю миллионов наиболее грамотных и умелых крестьян, уничтоженных различными путями в конце двадцатых и начале тридцатых годов. Партия никогда не отрицала, что именно она руководила сельским

хозяйством с того периода и до наших дней. Проведя коллективизацию, вдохновители и исполнители этой политики нанесли государству непоправимый ущерб. Однако, эта политика была со всеми ее издержками глубоко оправдана с точки зрения партийных интересов, в силу которых большевики решили, что пора уничтожить последние в стране очаги экономической самостоятельности населения. С того момента начинается эпоха безраздельного господства партии в хозяйстве страны. В плане государственных интересов коллективизация привела к ряду последствий. К началу и в течение войны СССР ни в какой степени не мог обеспечить армию и население продуктами сельского хозяйства. Если бы США не осуществили гигантских поставок хлеба и продуктов советскому союзнику, страна не смогла бы сопротивляться нашествию войск противника. Кроме того, измученное коллективизацией крестьянство (на Украине, например) нередко встречало завоевателей, как освободителей.

## МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ ЭКСПАНСИЯ

Не менее яркие примеры противоречий между партией и государством можно найти во внешнеполитической деятельности КПСС. Политика партии ведет к тому, что страна постоянно балансирует на грани мировой войны. Непрерывное разжигание конфликтов на нашей планете, физическое участие советских военных в районах локальных войн (Корея, Индокитай, очаги партизанской войны в Латинской Америке, Ближний Восток, Ангола...), гигантские военные расходы при полном отсутствии для СССР внешней угрозы — все это лишено государственного смысла. В отличие от завоевателей древности, СССР не может собирать дань с покоренных земель, ему некого грабить в нищих странах Третьего мира или в Португалии. Советскому Союзу не нужны источники сырья или рынки сбыта, что служило традиционным мотивом экспансии в предшествующую эпоху, так как огромный советский рынок не насыщается даже на треть своих потребностей, а ресурсы СССР далеко еще не исчерпаны. Экономические потери в

результате военных авантур КПСС невозможно подсчитать. Достигнутые успехи автоматически означают новые расходы для поддержки нежизнеспособных политических клиентов: Куба — самый характерный пример. Более скандальный, но не такой, вероятно, убыточный пример — Египет. Экономический смысл экспансии, таким образом, равен нулю. Остается лишь один аргумент в пользу такой политики — фактор силы и власти, двух мощнейших стимулов для коммунистического мышления.

Военная экспансия составляет одну из важнейших функций партийного аппарата. Таким путем партия распространяет собственное влияние, оправдывает — в значительной степени — свое существование. Без постоянной военной напряженности, спровоцированной КПСС вовне, было бы куда труднее оправдывать жесткий режим внутри страны (а ослабить его, с точки зрения интересов партии, было бы самоубийством).

Теоретическое обоснование непрерывной экспансии большевики нашли в марксистской концепции мировой революции. Любую форму вмешательства в дела других стран коммунисты оправдывают ссылками на заботу о революции в некоммунистических странах. И хотя, с точки зрения классической доктрины марксизма, говорить о социалистической революции в не выдавшей даже собственного феодализма Анголе просто смешно, коммунисты под этим предлогом распространяют свое влияние. Лозунг мировой революции или победы коммунизма во всем мире ясно показывает, каковы масштабы претензий в большевистской картине действительности, где сфера активности обозначена за пределами естественного "целого" — государства. При этом народы, получившие из рук КПСС коммунистические режимы, рассматриваются не как самостоятельные и суверенные в будущем государства, но как зависимые исполнители воли Москвы. Отсюда вытекают самые серьезные последствия для советского государства, которое вовлекается в межпартийные конфликты, что недвусмысленно показала история советско-китайских отношений.

## ПАРТИЯ - ВСЕ, ГОСУДАРСТВО - НИЧТО

Отношения с внешним миром позволяют отчетливо понять, как старательно большевики путают собственные интересы с интересами государства. Когда западные страны обвинили московское руководство в военной агрессии на территории Анголы, т.е. в серьезном нарушении международного права, КПСС отвечала ссылками на традиционные партийные лозунги — пролетарский интернационализм, поддержка национально-освободительных движений и т.д. Точно так же оправдывают большевики свои акции, направленные на дискредитацию правительств и подрывную пропаганду в других странах. Но как только западные общественные организации или государственные органы выражают беспокойство в связи с положением политических заключенных в СССР, преследованиями верующих или юридически не оправданными запретами на эмиграцию, вожди КПСС протестуют против "вмешательства во внутренние дела" государства.\* И вместе с тем, мы не найдем такого момента в истории СССР, когда бы его политика протекала без вмешательства в дела других стран.

Приведенные примеры позволяют нащупать приблизительную дистанцию между интересами партии и интересами государства. Как внутри страны, так и вне ее, "часть" в повседневной деятельности руководствуется в первую очередь своими интересами в той форме, в какой они сформулированы центральным ее аппаратом, но не интересами "целого". Внутри большевизма возникла такая картина мира, в которой партия гораздо важнее государства. Точнее говоря, партия — это все, а государство — ничто. Однако большевики создали и тщательно культивируют фикцию государства.

На самом деле не только планы на пять и более лет, не только решения, определяющие судьбу "целого", но даже оперативная работа государственной машины определяется в

\*Западные правительства не оценили такого лингвистического факта во время заключения договоренности в Хельсинки: то, что они называли "комплексом третьей корзины", "гуманитарными проблемами", в лексиконе КПСС обозначено как "внутренние дела".

недрах партийного аппарата. Любая государственная или хозяйственная единица в СССР (завод, колхоз, совхоз, издательство, министерство, театр, научный институт, городской совет, учебное заведение и т.д.) имеют на соответствующем уровне партийного куратора, который единственно и наделен правом принимать решение, без его одобрения нельзя сделать ни шагу. Практически это привело к тому, что государственные чиновники, понимая свою роль фикции, ширмы\* для подлинного хозяина страны, сознательно уклоняются от необходимости что-либо решать.

### КРУГОВАЯ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Партийные чиновники, в свою очередь, занимаясь оперативной деятельностью на определенном уровне (например, ежедневное руководство экономикой) широко пользуются неофициальностью собственного положения: их указания даются, как правило, не письменно, а устно, и ссылаться на эти указания запрещено партийными инструкциями. В результате люди, принимающие решения в партийном аппарате, несут ответственности за свои действия в оперативной работе. Создалась подлинная система безответственности на трех, как минимум, уровнях. Государственные чиновники не желают принимать решений, зная, что все равно решать будут не они, а люди из партаппарата. Чиновники партии принимают в пределах собственной компетенции решения, избегая практически ответственности за них, поскольку их положение анонимно и неофициально.

Третий уровень, то есть партия в целом, тоже не должна отвечать за свои решения, потому что разработан отличный и гибкий механизм, позволяющий ей уходить от ответственности. Строго говоря, в истории советского режима известно лишь несколько случаев, когда в стране, хотя и глухо, вставал вопрос об ответственности: террор сталинской эры, поражения первых лет войны, конфликт с Китаем. На этом

\*Редактор журнала, например, не может сказать автору романа, что его произведение запрещено инструктором ЦК: редактор должен сам обосновывать и оправдывать запрет.

материале можно понять, каким образом партия уходит от ответственности.

Не желая признавать свою вину за организацию террора, партия, во-первых, редуцировала содержание этого феномена, ограничив его лишь потерями в партийных, военных и отчасти культурных кадрах в промежутке с 1934 года по 1953. Во-вторых, виновниками террора партия представила Сталина и нескольких его подручных — вопреки марксистской доктрине о роли личности в истории. Расчет был, конечно, обоснован: убытки от свержения мертвого кумира куда меньше, нежели от гипотетического признания партийной ответственности\*.

В процессе избавления партии от ответственности за террор интересны даже нюансы. Например, такие знаменитые большевики, как Пятаков и Сокольников, не были реабилитированы после XX съезда. Как считает Р. Конквест, это произошло потому, что ЦК ВКП (б), хотя и задним числом, утвердил их осуждение. А изменять или дискредитировать постановления ЦК — даже в столь очевидном случае — вожди партии не желают. Точно так же обстоит дело с постановлениями ЦК в области культуры: хотя никто уже серьезно не говорит о враждебности Шостаковича, Ахматовой или Зощенко советскому государственному строю, постановления, едва не уничтожившие этих художников много лет назад, входят в обязательные программы ВУЗов и никем официально не отменялись. Более того, инициатор этих постановлений А. Жданов по-прежнему превозносится официальной пропагандой как верный и последовательный идеолог коммунизма.

Поражения первых лет войны приписываются отчасти Сталину (в последнее время и это стали замалчивать), но — главным образом — неожиданности нападения. Строго запрещается в СССР подвергать сомнению всю линию советской политики по отношению к Германии и особенно германо-советский пакт 1939 г. Последнее объясняется тем, что курс на воз-

\* Позднее этот же механизм сработает, когда придется оправдываться за ошибки пятидесятых и начала шестидесятых годов: под удар подставят Хрущева.

рождение немецкой армии был взят в СССР еще при Ленине — нельзя же критиковать сакрализированный труп.

Объясняя конфликт с Китаем, партийные вожди воспользовались традиционными факторами в сознании населения — удивительной неинформированностью и ксенофобией. Пропаганда с полным успехом возложила ответственность за конфликт на "коварный Китай", "на клику Мао". Подобный ход опробовал еще Сталин, когда ему пришлось объяснять стране свой раздор с Югославией в конце сороковых годов. Очевидно, этот набор приемов будет использован еще не раз для оправдания безответственной партийной политики.

Но чаще всего партии просто незачем оправдываться, поскольку наиболее удобный способ "сохранить лицо" — фигура умолчания плюс активная дезинформация населения. Последний пример — история с нефтяным эмбарго и его последствиями. КПСС всемерно убеждала своих арабских клиентов использовать как оружие дипломатии нефтяное эмбарго против индустриально развитых стран, поскольку советские вожди надеялись извлечь серьезные выгоды из затруднений, предстоявших западным странам. Эмбарго и многократное увеличение цен на топливо вызвали цепную реакцию в экономике всего мира. СССР также повысил цены на свою нефть и сократил поставки топлива восточно-европейским сателлитам. В результате серьезно осложнились отношения в рамках Варшавского пакта. Но кроме того, инфляция на мировом рынке резко толкнула инфляционные тенденции в Советском Союзе, где весь этот круг фактов не был предан гласности, чтобы партия смогла избежать ответственности за свою международную аферу\*. Руководство КПСС вовлекло государство в экономическую авантюру, пренебрегая его интересами, но не желая нисколько нести за это ответственность.

\* Аналогичная тактика умолчания и дезинформации населения используется партией при неудачах в космических исследованиях. Просочившиеся сведения показывают, что почти всегда неудачи в космосе — результат вмешательства партийного аппарата в работу экспертов. Прикрываясь секретностью, аппарат скрывает собственную вину.

## ГОСУДАРСТВО - ШИРМА

В целом, можно сказать, партия использует государство как ширму, которую очень удобно эксплуатировать. Это особенно ясно, если обратиться к материалам политических преследований в СССР. Рассматривая любое неконтролируемое выступление в стране как угрозу собственной монополюльной власти, партия заставляет государственные органы нарушать законодательство и преследовать провинившихся, хотя те не преступали никаких государственных законов. На самом же деле партия требует от граждан страны не лояльности по отношению к государству, но абсолютной лояльности по отношению к себе. При этом партийный аппарат эксплуатирует всю систему судов, прокуратуры, пенитенциарных учреждений, а в последнее время — даже органы здравоохранения, которым приходится "лечить" от здравомыслия политически нелояльных партии людей.

Другой пример эксплуатации государства как ширмы легко заметить в картине международных переговоров, которые государственный секретарь США Г. Киссинджер вел с генеральным секретарем КПСС Л. Брежневым. Киссинджер, вероятно, расценивал возможность вести переговоры прямо с реально властвующим лицом как удачу. Минувя марионетку из государственного аппарата, он обращался к подлинному хозяину страны, облеченному правом принимать решения. Государственный секретарь рассчитывал уговорить своего партнера, что для СССР как государства вести честную игру с США выгоднее, чем продолжать опасное и бесплодное соперничество. Через некоторое время наблюдателям стало ясно, что Киссинджер ошибался, надеясь пробудить в сознании советского собеседника логику государственного мышления.

Генсек КПСС принимал Киссинджера как государственный деятель и давал США определенные обязательства. Но, будучи в действительности абсолютно партийным человеком, Брежнев не собирался отказываться от многократно провозглашенных партией целей уничтожения всех ее противников (а если б даже глава партии на минуту решил от этих целей отка-

заться, он был бы уничтожен собственными коллегами из аппарата, которые уже приобрели в таких делах солидный опыт). Пока же Брежнев, лавируя между государственной ипостасью и партийной, спокойно обманывает США, подрывает их позицию и сохраняет свои силы. Поскольку Киссинджер и другие государственные деятели западного мира не хотят признавать этого вслух, постольку они сами подыгрывают Брежневу, помогают ему эксплуатировать ширму государства.

## ВЛАСТЬ И СЕКРЕТНОСТЬ

Так как государство в системе партийного мышления рассматривается как фикция, объект эксплуатации, то вся картина действительности как бы распадается на две части (по крайней мере теоретически): одна — фиктивная, соответствующая государству, другая — реальная активность, спрятанная за фикцией. От посторонних глаз реальная деятельность должна тщательно скрываться. Таким образом, феномен, называемый обычно на западе "манией секретности", вытекает из глубин партийного мышления, из внутренней картины мира, выработанной большевиками.

Различные оттенки Секретности можно использовать в качестве критерия для определения позиции каждого из советских аппаратов относительно друг друга и позиции каждого чиновника внутри этих аппаратов. Следует только помнить, что степень секретности возрастает по мере приближения к реальному центру власти. При всей важности, например, пропагандистской машины, ее нельзя сравнить по весу и значимости с армией или КГБ: пропаганда не окружена такой секретностью, как два других аппарата. Советская армия — весьма секретная организация, но степень секретности в ней все же не так велика, как в КГБ. Поэтому резонно сделать вывод, что влияние армии в советской системе относительно слабее влияния политической полиции. Против этого тезиса можно возразить, что именно армия в 1954 г. сыграла решающую роль при ликвидации Л. Берия и его людей из аппарата политической полиции. Следует помнить, однако, что армия

выступила тогда не по своей инициативе, но по приказу высшего партийного руководства, которое — после недолгого периода замешательства — вернуло свое предпочтительное расположение КГБ, и влияние этого аппарата было восстановлено (в целях предосторожности партия расставила своих людей на всех уровнях аппарата КГБ для контроля) \*.

---

\* Разумеется, на вооруженные силы выделяется больше денег из бюджета, чем на КГБ. Но значительная часть военных расходов идет на содержание гигантского персонала армии и флота. Кроме того, военные не имеют, скорее всего, в своем распоряжении таких серьезных валютных ассигнований, какие представляются партийными плановиками для КГБ. Расходы госбезопасности меньше, поскольку, расставив множество своих людей в самых разных точках всех остальных аппаратов советской системы, КГБ заставляет именно эти аппараты оплачивать содержание своих агентов. Иными словами, если советский офицер флота служит одновременно тайным информатором КГБ, то деньги он получает от флота. Собственно аппарат КГБ, среди которого и распределяются бюджетные ассигнования, весьма не велик по сравнению с армейским. В результате сотрудники КГБ лучше оплачиваются и наделены большими привилегиями, нежели их армейские соперники.

Но дело не только в этом. Контролируя приблизительно с середины тридцатых годов военную разведку (ГРУ), политическая полиция является практически монопольным поставщиком информации для партийных бонз как в сфере внутренних дел, так и в сфере внешних сношений. Возможности КГБ в формировании взглядов партийного руководства на любой вопрос несравненно больше, нежели возможности армейского аппарата. Более того, армия вынуждена делиться с КГБ полученной информацией, а КГБ — свою информацию (или дезинформацию) разделяет только с высшим партийным руководством. В силу специфики работы, оперативная часть КГБ не так жестко контролируется партийными чиновниками, как контролируется деятельность армии (например, любые действия армейских офицеров за границей возможны только по решению партийного аппарата). Вдобавок КГБ держит в своих руках несколько смежных аппаратов: министерство внутренних дел, прокуратуру, министерство юстиции, министерство иностранных дел, государственный комитет по научным связям, государственный комитет по экономическим связям, министерство внешней торговли и т.д. Все это позволяет сказать, что следующий по влиянию и весу в советской системе аппарат — после партийного — политическая полиция.

Используя формальный критерий секретности, можно расположить все разновидности аппаратов советского режима в своеобразную иерархию. Собственно государственные органы, вроде Госплана, министерства и т.д., окажутся в самом низу данной лестницы. Одно из доказательств их подчиненного положения заключается в том, что государственные органы подотчетны вышестоящим, формально государственным же органам. КГБ подотчетно лишь Политбюро КПСС, как и армия. Бюджеты КГБ и армии относятся к самым важным секретам режима.

Аналогичным образом позиция каждого конкретного работника внутри любого из аппаратов определяется только одним качеством данного лица — его близостью (в силу личных связей чаще всего) к партийным чиновникам и их секретам. Эффективность, знания, опыт не помогут советскому человеку сделать карьеру, если он не сумеет завязать дружеские отношения с партаппаратом. Даже в такой сфере, как точные науки, отношения эксперта с аппаратчиками моделируют его карьеру на всех ступенях. Получить ученую степень гораздо легче партийному человеку. Партийная поддержка при избрании в Академию Наук играет колоссальную роль. Но еще важнее слово партии при распределении средств на научные изыскания: в этих случаях бездарный член партии может добиться гораздо большего, нежели талантливый, но излишне самостоятельный ученый\*.

---

\*Академия Наук, правда, пользуется особым вниманием со стороны бдительного партаппарата. Это объясняется простым обстоятельством: из всех советских учреждений Академия Наук одна концентрирует внутри специалистов высокого ранга почти по всем областям, стратегически важным для экономики. Иными словами, эксперты Академии Наук обладают достаточным опытом, знаниями и навыками, чтобы — при определенном развитии событий — взять на себя руководство страной. Поскольку партийные стратеги, начитавшись социологических прогнозов, где пророки западного мира возлагают надежды на "технократию", учитывают эти факторы, постольку они все пристальнее следят за делами Академии Наук. С этой целью внутри ЦК были созданы отдел науки и — еще более важное учреждение — Военно-Промышленная комиссия ЦК. Последний орган представляет

Таким образом, вся картина мира для большевиков делится на две неравных части: одна — фиктивная ширма, открытая для посторонних глаз, другая — реальная сфера деятельности, окрашенная секретностью, тайной. В фиктивной части приходится, хотя и не слишком, считаться с официальным законодательством, нормами цивилизованного поведения: в части реальной деятельности, напротив, чиновники руководствуются лишь партийной дисциплиной и строго засекреченными инструкциями. Практически это означает, что, несмотря на положение монопольного хозяина страны (зафиксировано в Конституции), партия в своей работе остается такой же нелегальной организацией, как и в эпоху царизма. Тот же тезис поддается переформулировке: благодаря своему положению монопольного хозяина, партия сохраняет и совершенствует все навыки нелегальной организации. Если для решения серьезного вопроса перед партией открываются два пути — один легальный, второй нелегальный, аппарат выберет не первый, а второй.

Доказательства тому легко найти в практике советской жизни. Одним из самых великих ее переворотов была коллективизация. Поучительно проследить, как было принято и проведено в жизнь это решение. В подробных исследованиях можно найти множество документов партии по темпам, масштабам и характеру коллективизации. Из государственных решений приводятся лишь следующие. В первой половине декабря 1928 г. сессия ЦИКа отменила последние гарантии единоличного землепользования (но не санкционировала массовой коллективизации). В конце 1929 г. съезд Советов санкционировал коллективизацию 20% посевной площади. Затем по решениям ЦК была проведена тотальная коллективизация, организован голод в самых развитых сельскохозяй-

---

с собой высший авторитет в партийном руководстве наукой. Его слово особенно важно при распределении средств на исследования. Если какая-либо научная тема выделяется под контроль Военно-Промышленной комиссии ЦК, она получает сразу огромные преимущества при финансировании. Как правило, такая тема сразу же строго засекречивается.

ственных районах страны, около десяти миллионов крестьян было арестовано и депортировано в северные области (большая часть из них погибла).

Государственная же санкция на эти действия была дана лишь задним числом и гораздо позже: 17 февраля 1935 г. Совнарком вместе с ЦК утвердил весь законодательный комплекс, оправдывающий коллективизацию. По существу, все действия партии в период между 1928 г. и 1935 г. были незаконными. Могут возразить, что нелегальный путь был избран потому, что сама партия не имела единого мнения о коллективизации (правые во главе с Бухариным выступали — теоретически — против). Но характерно, что силы противников коллективизации в той варварской форме, в которой ее проводил Сталин, не попытались даже поднять вопрос о незаконности действий доминирующей партийной группировки, то есть перенести борьбу в сферу государственной жизни. Очевидно, Бухарин и его сторонники сознавали антипартийность такого шага: в их глазах было недопустимо реальный конфликт вынести напоказ — в сферу фикций.

Нелегальный путь был избран, например, в решении вопроса о сборе информации относительно потенциальных противников. Количество официальных, полуофициальных и независимых источников информации в США или Великобритании во много раз превышает количество таких источников в СССР. Но при этом западные страны пользуются именно советской печатной информацией и данными спутников, а советские руководители полагаются куда больше на сведения, полученные через нелегальную агентурную сеть в странах всего мира. Конечно, партийные руководители используют и печатную информацию, но предпочтение явно отдано нелегальному пути, хотя он требует колоссальных затрат драгоценной для СССР конвертируемой валюты и постоянного риска международных скандалов.

Такое же пристрастие к нелегальности ощущается в обычае КПСС нарушать международные договоры, заключенные от имени государства. Этот обычай, кажется, не был нарушен только один раз: германо-советский пакт 1939 года разорвал

Гитлер, а не Сталин, который в этот момент обнаружил меньше коварства, чем его немецкий коллега. Ход мысли, исключая честную игру, очень характерен для коммунистических политиков. Случаются, конечно, время от времени международные скандалы, и обманутые правительства демократических стран обвиняют советское руководство в нарушении договоров, но это бывает не так уж часто. По большей части, правительства, обманутые СССР, предпочитают делать хорошую мину при плохой игре\*.

Материал о нарушении законов внутри СССР накопился в таком объеме, что приводить примеры из этой области не нужно. Широкая публика склонна думать, будто такие нарушения собственного законодательства практикуются в СССР только по отношению к политическим противникам. Но ничуть не лучше обстоит дело с уголовными и гражданскими делами. Недавно грузинское отделение "Международной Амнистии" опубликовало документы, свидетельствующие о применении пыток и побоев в ходе следствия по чисто уголовным делам\*\*. Факты и документы подтверждают высказанный тезис: партия предпочитает нелегальный, нелегитимный путь в решении любых вопросов. В глазах партийного руко-

\*Самый характерный пример: после кубинского кризиса и всех заверений советского правительства в 1962 г. на Кубу были осторожно возвращены ракеты, а еще позднее СССР построил в Сьенфуэгосе базу для атомных подводных лодок, вооруженных баллистическими ракетами. Хотя информация об этом дошла до правительства США, никакой реакции не последовало. Позднее США столь же легко примирились с нарушениями договоренности СОЛТ-1.

\*\*В последние годы новое руководство грузинской компартии приняло решительные меры против коррупции в республике. По инициативе первого секретаря грузинского ЦК Э. Шеварднадзе милиция арестовала очень много людей. Следственные органы были вынуждены добиться в короткие сроки признаний и раскаяний, а потому запросили негласно, конечно, у партийного руководства санкции на применение незаконных методов следствия. Заручившись согласием партийных верхов, следователи дали команду агентам-уголовникам, которые стали избивать и пытать подсудимых в камерах, выколачивая у них показания. После нескольких смертных случаев информация об этом просочилась и была опубликована.

водства этот путь гораздо эффективнее, короче, но он требует тайны — секретности.

Суммируя, можно сказать, что картина мира в большевистском сознании делится на два сектора: один связан с легальными фикциями и покрывает понятие государства; другой связан с реальной и незаконной, по большей части, деятельностью, цели которой продиктованы интересами партии. Иными словами, партия вовсе не ощущает себя "частью", оперирующей в пределах "целого". Для нее государство — лишь ширма, поддающаяся эксплуатации, легальное прикрытие нелегальной по существу деятельности. Маневрирование между двумя этими сферами составляет серьезное преимущество большевизма.

## ЛЕНИНСКАЯ КУХНЯ

Большевистская партия зародилась среди прочих русских и нерусских подпольных организаций в начале нынешнего столетия. Все партии поначалу вынуждены были действовать конспиративно, соблюдая секретность. Именно поэтому вожди социал-демократии (а отчасти и либералы, экономисты) не уловили различий между собственной концепцией партии и ленинскими представлениями по тому же вопросу (Плеханов, столь сожалевавший позднее о своем союзе с Лениным на первом этапе, не захотел открыто признать, что в 1902—1903 гг. он сам придерживался очень сходных взглядов на отношения партии со всем остальным миром: известны его слова на II съезде РСДРП о допустимости разгона парламента, если последний будет негоден партии). Первый документ, где эти различия проявились уже достаточно ясно, — ленинская брошюра "Что делать?". Уже название ее указывает на литературный и духовный источник ленинской мысли: Чернышевский, заговорщики 1860—1870 гг.

Два самых важных аспекта книги сводятся к следующему: необходимо создать боевой авангард пролетариата в виде жестко дисциплинированной организации революционеро-

профессионалов ("Дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем Россию!"). Такая партия должна была сыграть безусловно доминирующую роль по отношению к пролетариату, и ее следовало строить без "демократии". Важно отметить, что, поскольку будущие оппоненты Ленина согласились с этой работой (а она не вызвала тогда серьезных возражений в кругах социал-демократии), постольку они сами сдали Ленину козыри его будущей игры.

Разногласия начались на II съезде РСДРП, где оформился раскол на "меньшевиков" и "большевиков". Интересно в плане данной работы проследить, где проходила главная линия раскола. Противоречия обнаружились не при обсуждении программы (имеются в виду противоречия, вызвавшие раскол), а при выработке устава, точнее, первого его пункта. Иными словами, цели, намерения и теоретические взгляды двух фракций в большей или меньшей степени совпадали. Они разошлись в формулировке правил будущей деятельности. В терминах современной лингвистики можно сказать так: меньшевики и большевики были согласны создавать единый текст, но раскололись из-за того, каким кодом этот текст будет порожден.

Ни с чем несоизмеримая важность этого пункта в глазах Ленина подтверждается фактами последующего периода. На протяжении всей своей жизни он (а позднее и его наследники вплоть до наших дней) неоднократно и с легкостью отказывался или изменял самые существенные части партийной программы (текста), но не отказывался никогда от главных правил им самим выработанной игры (кода).

Аграрная часть программы, в условиях России — существенная проблема будущего развития, менялась не один раз, а в решающий момент 1917 г. Ленин попросту позаимствовал аграрную программу эсеров, хорошо зная в глубине души, что сумеет при необходимости от нее отказаться. Радикально менялись взгляды Ленина на роль выборного органа — Думы. Позднее столь же радикально изменились его взгляды на Учредительное собрание. Прыжки Ленина в толковании национального вопроса также достаточно известны. Легкость, с которой

он изменял свои взгляды на важнейшие части партийной программы, поразительна. Особенно если сравнить ее с жесткостью и неуступчивостью Ленина в вопросах партийной дисциплины, с полной его авторитарностью во внутривнутрипартийных делах, безудержным стремлением удержать в своих руках власть над партийным аппаратом.

Та самая точка опоры, о которой он вдохновенно писал в "Что делать?", приковывала его внимание непрерывно. В глазах Ленина партия — инструмент, который ни при каких обстоятельствах нельзя выпускать из рук, ибо этот инструмент — нечто вроде волшебной палочки. Ради сохранения этого инструмента в своих руках допустимы любые действия (достаточно вспомнить эпизоды с ограблениями банков или попытками изготовления фальшивых денег). Характерно, что люди, хорошо знакомые с ленинской кухней, Мартов и Аксельрод, в переписке именуют группировку большевиков "бандой". Это слово появляется в их письмах 1906—1907 гг.

Оба меньшевистских лидера имели в виду прежде всего махинации Ленина и его людей в рамках социал-демократии, но также и полный аморализм их действий вне партии — в первую очередь смычку с уголовной русской стихией. Как раз в 1907 г. разыгрался грандиозный скандал в связи с контактами между большевиками и бандой Лбова, оперировавшей в уральских горах. Большевики обещали бандитам за довольно значительную сумму награбленных денег груз оружия. Деньги большевики получили, но оружия они бандитам не доставили. Тогда один из уголовников выступил в Париже с разоблачениями большевистской фракции. Кроме того, осведомленные лидеры меньшевиков хорошо представляли себе, что сотрудники Ленина в так называемом "Заграничном бюро" (Таратуа, Андреканис и др.) были вполне уголовными типами.

Следует, тем не менее, отметить все попытки представить Ленина как обычного уголовника. Значение вождя большевистской партии, а позднее — руководителя СССР, неизмеримо больше. Его пристрастие к уголовным методам борьбы, аморализм, отсутствие брезгливости при выборе средств, — все это следствие маниакальной деструктивной природы ле-

нинских талантов. Разрушение было доминантой его деятельности, именно в разрушении он добился наибольших успехов. Ближайшие сотрудники Ленина хорошо знали за ним это качество: о разрушительных идеях демонического толка говорил в свое время Л. Красин в частном разговоре\*.

Разрушение русского государства было поистине маниакальной идеей Ленина. Для этого он создал себе безукоризненное оружие — партию большевиков. В разрушительной деятельности не следовало брезговать контактами с уголовной средой, изготовлением фальшивых денег и т.д. Интересно вспомнить его письмо от 1905 г. к Военной организации Петербургского комитета социал-демократической партии, где Ленин настойчиво рекомендовал, требовал вовлечь в вооруженную борьбу петроградскую молодежь. Пусть каждый убьет полицейского — вот приблизительно смысл ленинских заклинаний. В этом письме вождь большевиков изъясняется на обычном политическом жаргоне тех лет. Но его тенденция легко переводится на традиционный язык мафии: пусть гимназисты, подмастерья и студенты "пойдут на мокрое дело" — пути назад им уже не будет. Став преступниками, они смогут полагаться только на поддержку партии, которая санкционировала убийство.

Ассоциация большевизма с мафией представляется довольно устойчивой, особенно в таких моментах, как отношение к свидетелям: и мафиози, и большевики старательно убирают свидетелей своих дел, не останавливаясь перед убийством. Но претензии большевизма, как их сформулировал Ленин, всегда превосходили любые мечты главарей мафии. Абсолютная и неоспоримая власть — вот какую цель поставил Ленин перед своей партией. В начале века главным соперником в борьбе за власть для большевиков было русское государство. В борьбе с ним Ленин учил партию использовать любые факторы и силы, существовавшие в России: национальные движения, либеральные круги, профсоюзы, благотворительные

\*См. Г.А. Соломон "Среди красных вождей. Лично пережитое и виденное на советской службе", Париж, 1930, т. 1.

общества, страховые кассы и т.д. Отношение большевиков ко всем этим силам внутри России лучше всего передается термином "эксплуатация". Для Ленина и его последователей эти движения и организации никакой самостоятельной ценности не представляли, конкретное отношение к ним формулировалось в зависимости от того, насколько интенсивно можно их эксплуатировать для свержения режима и захвата власти. Так, например, большевики всячески стимулировали развитие национальных движений на Кавказе, в Прибалтике и Польше, резонно рассматривая любые акции националистов против царского правительства как дополнительные удары по вражеской крепости. Но после захвата власти большевики немедленно начали интриги и репрессии против националистических партий в пределах России.

### ПОХОТЬ ВЛАСТИ

Очень показательное отношение большевиков к Государственной Думе на разных этапах ее существования. Не сразу поняв, как успешно можно эксплуатировать Думу, Ленин сначала призвал к бойкоту ее. Затем он провел в Думу своих депутатов, беззастенчиво используя думскую трибуну в своих противозаконных и антигосударственных целях. Кульминацией этого процесса была, конечно, история с Романом Малиновским, провокатором охраны и приближенным сотрудником Ленина. Речи Малиновского редактировал как Ленин, так и департамент полиции: в результате получались совершенно экстремистские выступления, которые устраивали полицию, потому что компрометировали работу Думы, а Ленина — потому что он хотел предотвратить укрепление Думы как собственно государственного представительного органа.\*

Именно в этом плане следует рассматривать отношение большевиков в 1917 г. к Советам. Вся ленинская пропаганда и его акции в Советах были направлены к тому, чтобы как

\*В этом смысле отношение большевиков к любым организованным силам представляет собой полную аналогию их позднему отношению к советскому государству.

можно резче столкнуть лбами государственную власть с Советами. Будучи лишены серьезной законодательной базы, не выработав ясного отношения к государству, Советы в глазах большевиков были легкой добычей. Поскольку они состояли лишь из рабочих и солдатских депутатов (на первом этапе Февральской революции), постольку они оставили без гражданских прав очень многочисленные и существенные, в государственном смысле, слои населения: крестьян, интеллигенцию (беспартийную), буржуазию, офицерство, служителей церкви, чиновничество. Иными словами, в Советах не были представлены все те слои, которые представлялись большевиками их естественными конкурентами в борьбе за абсолютную власть.

Ленин не без основания считал, что, спровоцировав Советы на захват власти, он легко сумеет вырвать власть в стране из слабых в государственном отношении рук солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. Комплекс власти в большевизме был силен на протяжении всей его истории. Но особенно ярко проявили Ленин и его люди этот комплекс ("похоть власти") накануне своего переворота. Россия была поражена глубочайшим кризисом. Основные партии, считая себя выразителями интересов определенных групп населения, старались — но весьма непоследовательно — решить проблемы, стоявшие перед государством, с учетом этих интересов. Лишь одна партия выступала последовательно в своих собственных интересах и ничьих больше, стремясь навязать свою волю всей стране. Перед большевиками маячила власть. Именно ради нее вела борьбу большевистская фракция. Люди Ленина с бешеной энергией раздували пожар противоречий, ослабляя государство. Их конкуренты размышляли, как лучше решить государственные проблемы. Различие в подходе четко выразилось на заседании Всероссийского Съезда Советов 17 июня 1917 года, где лидер меньшевиков Церетели заявил, что в России нет партии, готовой взять власть в свои руки. Ленин ответил, что такая партия есть — его партия.

*(Окончание в следующем номере)*



Эмиль КОГАН

## ПРОТИВОРЕЧИЕ ДУХА И ДУХ ПРОТИВОРЕЧИЯ

*Политическая психология Солженицына*

Ленинизм для Солженицына — могильщик свободы и демократии. И по самой посылке — он демократ. С другой стороны, писатель почти уверен, что демократия не в состоянии противостоять нашествию тоталитаризма, внутреннего и внешнего. Он возмущается излишками и злоупотреблениями свободы в современном западном обществе, терпимостью к подрывной деятельности ее врагов, разрушительным эгоизмом социальных категорий и предрекает закат Европы, неминуемый, как и падение Февральской республики. Впечатление такое, что во имя сохранения свободы он готов допустить отказ от нее.

Для западного политического и морального сознания центральным императивом является свобода. Ему подчинено все остальное, в том числе социализм, коммунизм и даже социальная справедливость. У Солженицына и близких к нему в центре всего находится коммунизм как враг рода человеческого, как инкарнация исторического зла и возмездия, как инстинкт

смерти и самоуничтожения человечества. Все остальное оценивается по своей способности сопротивляться коммунизму. В том числе и свобода. Происходит смещение понятий и пропорций, с которым ничего не поделаешь.

Выросший в тоталитарном лоне Солженицын тяготеет к абсолютной судьбе. Демократия, то есть равновесие противоборствующих сил, движение в неизвестность, не удовлетворяет писателя. В его речах прячется стремление к эсхатологической полноте, недоверие к зыбкой и ненадежной свободе — то, о чем говорил Бердяев применительно к русским революционерам.

### ПРОТИВ СВОЕВОЛИЯ ЗАПАДА

Мы уже отмечали, что темперамент Солженицына совмещает два подхода к действительности: тоску о высшей цели и земную потребность в тепле и уюте налаженной жизни, сумрачный аскетизм и горячность неопита в апологии капитализма. Когда он смотрит на Россию, то думает, что она могла быть свободной и богатой, не хуже своих европейских соседей. Когда он обращается к Западу, то улавливает запах серы и видит все укоряющим взглядом Костоглотова или испепеляющим — Ленина.

Реакция Солженицына — это реакция зэка, который, выйдя из заключения, приходит к горькому убеждению, что люди не умеют пользоваться свободой, довольствоваться тем малым, что у них есть, что жизнь их прогорает в ничтожной суете, в погоне за призрачными символами счастья, пока в один прекрасный день (или, вернее, ночь) к ним не постучат с ордером на арест...

Но тот, кто не умеет разумно распорядиться своим достоинством, быть может, и не заслуживает его? Наследство свободы легко растратить, промотать актами своеволия, и в диссидентской литературе мы сплошь и рядом находим противопоставление свободы своеволию. Солженицын преодолевает двойственность своего зрения тем, что отделяет свободу от демократии. Демократия перестала быть гарантом основ-

ных свобод и, стало быть, синонимом их. А раз так, то сохранить и отстоять их удастся лишь посредством институционных предохранительных клапанов, которые, оберегая общество от своеволия, от издержек анархии и демократической сутолоки, в то же время обеспечивали бы ему оптимальный уровень необходимых свобод.

Такой порядок вещей, гарантируя свободу совести, хозяйственной инициативы, развитие философских и социологических исследований — всего, о чем говорил Ободовский и по чему изголодался советский интеллигент, препятствовал бы угрожающему скоплению паров в социальной сфере, молекулярному брожению партий и парламентских комбинаций, расточительным забастовкам, деятельности подрывных групп ("противников свободы"), деградации нравов и разгулу порнографии, особенно шокирующему многих русских диссидентов.

Для России, чья "готовность" к демократии, "весьма низкая в 1917 году, могла за последние полвека только снизиться"\* такой режим был бы, что и говорить, огромным шагом вперед. Но и Запад сумел бы в рамках новой дисциплины оправиться от демократического своеволия, расхлябанности и эгоизма и обрести высшее назначение, утерянное лет двести назад с уходом от Бога к материальной мамоне и золотому тельцу.

Этот режим и стал бы в будущем тем историческим перекрестком, где бы встретились снова западная и восточная ветви единой христианской цивилизации.

Было бы заблуждением причислять Солженицына к убежденным и непримиримым врагам демократии, какими выглядят некоторые "из-подглыбовцы". Просто писатель не видит проку в войне с режимами, опирающимися не на избирательное право, а на моральный регламент, если к нему рано или поздно должно прийти человечество, задыхающееся в чад "истребительно-жадного прогресса", духовного гниения и вобравшее голову в плечи под постоянно занесенной угро-

\* Из-под глыб, ИМКА-пресс, Париж, 1974, стр. 25.

зой коммунизма, этого Божьего бича, ниспосланного нам за грехи и безумие.

К тому же, поворот от авторитаризма к демократии таит в себе бесчисленные опасности. Это лишний раз показали события в Португалии. А смерть Франко словно окунула писателя в прошлое его страны. Оно стало неожиданно близким, рукой подать от Швейцарии. И Солженицын поспешил в Мадрид, заклиная испанцев быть осторожными и не забывать про тормоза.

Но в словах его сквозило колебание, безошибочно уловленное аудиторией: к чему весь этот головоломный вираж на спуске, стоит ли рисковать всем, чтобы очутиться в ситуации, дышащей вечной неустойчивостью, зыбкой переходностью, ежедневной и изматывающей борьбой за сохранение самого себя? Разве не спокойнее и не надежнее было при долголетнем правителе, с которым сорок лет назад в стране "победило мировоззрение христианское"? "Хорошо, — допускает писатель, — завтра Испания станет такой же демократической, как и вся Европа. Но послезавтра, послезавтра — сохранит ли Испания эту демократию, защитит ли ее от тоталитаризма, который хочет проглотить весь Запад?"

Надо плохо знать Солженицына и его программные статьи, чтобы сомневаться в ответе. Авторитарный панцырь — единственная защита от коммунизма.

Не стоит делать из писателя апологета сокрушительной диктатуры. Его устроил бы лишь тот авторитаризм, что без всякого семантического нажима сочетался бы с определениями "христианский" и "правовой". Он согласен чтить лишь ту власть, которая чтит бы свои собственные законы. Солженицын испытывает биологическую, англо-саксонскую привязанность к праву и питает отвращение к культуре грубой силы.

Власть, по его политическому катехизису, не должна быть тяжеловесной и вездесущей, но сводиться к необходимому минимуму неизбежного зла. И это уже мысль славянофилов, примирявшая их с русской монархией. Солженицын хочет ограничить власть санитарными, охранительными функциями

и не ждет от нее творческих импульсов. Он даже готов признать мандат вождей, если те откажутся от Идеологии и не станут мешать восхождению общества на новых, христианских началах.

Солженицын не сотворил себе кумира из "государственного устройства". Справедливый порядок — прежде всего моральный порядок. "И пока мы в себе не превзойдем праха, не будет на земле справедливых устройств — ни демократических, ни авторитарных"\*.

"Мировая разделительная линия добра и зла" проходит не между классами, партиями и людьми, а "пересекает сердце каждого человека". Она пролегает не по Пиренеям или Дунаю, но через людей, страны и институты.

"По отношению к истинной земной цели ... государственное устройство является условием второстепенным"\*\*. Государство, созданное христианским народом, не может быть плохим, пока оно не изменяет самому себе.

И гражданская добродетель его поданных измеряется, в том-то и дело, не политическим зудом и расположенностью выйти в любой момент на улицу, но сознательным отказом от своеволия и подчинением общему благу. "После западного идеала неограниченной свободы, после марксистского понятия свободы как осознанно-неизбежного ярма, — вот воистину христианское определение свободы: свобода — это САМОСТЕСНЕНИЕ! самостеснение ради других"\*\*\*.

Все насущные проблемы современности — проблемы этические, и даже "устранение привилегий — задача нравственная, а не политическая". Отрицая необходимость политического мышления, Солженицын подменяет политэкономии экономией моральной:

**"Стимул к самоограничению еще никогда не существовал в буржуазной экономике, но как легко и как давно он мог быть сформулирован из нравственных соображений! Исходные понятия — частной собственности, частной экономической инициативы — природны человеку и нужны для его личной свободы и нормального самочувствия, и благо-**

\* Архипелаг ГУЛаг, т. 3, стр. 512.

\*\* "Из-под глыб", стр. 27.

\*\*\* Там же, стр. 144.

**детельны были бы для человечества, если бы только... если бы только носители их на первом же пороге развития самоограничились, а не доводили бы размеров и напора своей собственности и корысти до социального зла, вызвавшего столько справедливого гнева, не пытались бы покупать власть, подчинять прессу. Именно в ответ на бесстыдство неограниченной наживы развился и весь социализм"**\*

В ответ на "бесстыдство" капитализма и социализма, их непрекращающиеся внутренние и внешние распри, Солженицын предлагает моральный контракт, который бы стал базой национальной консолидации и международного сотрудничества. Ряд его положений (одних — для западного, других — для восточного пользования) уже конкретизирован автором и представлен суду общественности.

Солженицын ратует за прекращение "истребительно-жадного прогресса" и потребительской лихорадки, за развитие безвредных и необходимых человеку отраслей промышленности, за "устранение привилегий", не вытекающих из заслуг человека перед обществом, за поощрение частной и кооперативной инициативы. Солженицын предлагает России выбросить дубинку международного жандарма и заняться освоением сибирских пространств.

## УТОПИЯ "САМОСТЕСНЕНИЯ"

Излагая свой план, Солженицын, очевидно, не ведает, что говорит политической прозой. Посылая нас самосовершенствоваться и ковать душу, он тем временем разработал настоящую политическую программу.

Примем ее с благодарностью, но и не утаим известных опасений, которые Солженицын мог бы легко рассеять, ответив на несколько вопросов.

Связана ли судьба проекта с подсчетом голосов его сторонников и противников? Дозволят ли нам регулярно обсуждать его осуществление (в храме или специально отведенном для того месте, в прочих странах именуемом "парламент" — не столь уж важно, и говорим об этом, лишь поскольку сам

\*Из-под глыб, стр. 146.

Солженицын учит не мешать Божье с кесаревым)? Будет ли нам дана возможность через какое-то время сменить его проект на лучший или менее плохой и будет ли такая возможность возобновляться регулярно каждые четыре-пять лет?

Не скроем, что без этих гарантий почитателям Солженицына будет казаться, что он собирается осчастливить их насильственно и что авторитарный инструмент может быть употреблен не только для "самостеснения", но и для стеснения других, то есть по своему прямому назначению, к чему нам не привыкать стать.

Увы, Солженицын ничего не делает, чтобы успокоить читателя: Россия не созрела для демократии, Запад перезрел для нее...

Когда Солженицын путает политику с моралью (что мы ему охотно прощаем) и отказывается признать свою политику политикой на том основании, что она правильная и праведная (пусть он укажет хоть один общественный проект, который бы считал себя вздорным и опасным), — это еще полбеды.

Хуже, когда он, упорствуя в той же "логической ошибке", путает слабости, лимиты и накладные фасады современных демократий с Демократией вообще и на этом основании проносит ей преждевременную смерть и дружески толкает на эвтаназию, чтобы скорее попасть в авторитарный рай и уберечься от коммунистической преисподней.

"Логическую ошибку" я взял в кавычки, потому что дело тут, очевидно, не только в логике; авторитаризм и демократия — это две веры, два темперамента, две психеи...

О демократии Солженицын судит свысока. Запущенный в небо советским ракетоносителем, он наблюдает ее с высоты птичьего полета и через авторитарную оптику. Потому и не замечает он живых сил и надежд, порожденных самой демократией и являющихся ее великим шансом, которого грех не попытаться. Но тут-то мы и соскальзываем на глазах Солженицына в пропасть своеволия...

Я был бы рад заверить читателя, что авторитаризм Солженицына — литературный, утопический, как роялизм Бальзака, как пролетаризм Брехта. Что он, по всей видимости, не признает своего замысла ни в одном из его современных воплощений и сделался бы непременным противником русского, возникни он на родной почве по его расчетам и наброскам.

Но это было бы неосторожное поручительство. Солженицына никак не назовешь романтиком, реакционным или прогрессивным. Жизнь и лагерь сделали его реалистом. И хотя он призывает к всеобщему самосовершенствованию и аскетическому очищению, он не больно-то верит в способности человека приблизиться к заветному рубежу. Его рецепты "самостеснения" имеют целью оградить человека прежде всего от самого себя.

Он лишает его бесценного дара, дара свободы, и в этом заключается противоречие не только политического, но и христианского идеала писателя, отмеченное, между прочим, некоторыми его соотечественниками и единоверцами. Его христианство — однозначное, ветхозаветное. А Бог — жестокий и карающий. Ему неведомы милосердие и сострадание. Он общается с народом через избранных, диктуя им свои указы и наставления.

Стремясь неустанно и неуклонно к абсолютной судьбе и моральной целостности, Солженицын рискует быстро потерять терпение, коли уже не начал его терять, спотыкаясь о несовершенство человеческой природы и упрямство инакомыслящих. На этом пути его подстерегает соблазн деспотизма, и он будет не первым и не последним, кто угодит в его капкан. За неимением стройной и продуманной теории Великого Инквизитора он может схватиться за один из попавшихся под руку его эмпирических образцов. Гнев и нетерпимость, которые все чаще прорываются в статьях и интервью писателя, свидетельствуют о реальности такой опасности.

Кстати, как намерен он поступать с нехристианами в завтрашней христианской России? Не подпускать их к строительной площадке без предъявления членской карточки или на-

тельного знака? И как быть с христианами, что не согласились бы променять всю гармонию будущего на один окрик Солженицына, на один его литературный шпицрутен?

Писатель объявляет себя врагом любой Идеологии, сторонником социального, национального и философского плюрализма. Но приходится сомневаться, что ему будет уютно в этом постоянно меняющемся, распахнутом настезь и неспокойном мире.

Солженицын не жалеет суровых слов для своих соотечественников. Он клеймит всеобщее разгильдяйство и разболтанность, работу спустя рукава, уход в узкий мир личных интересов, воровство, пьянство, обман, безверие, в чем другие видят пассивное сопротивление режиму, признаки его подспудного разложения. Но не выдают ли справедливые обвинения Солженицына еще и тайную тревогу, как бы деидеологизация советского общества не привела к необратимому центростремительному распаду той "соборности", того монолита, частицей которого он приучен ощущать себя с детства?

Христианское мировоззрение Солженицына призвано остановить этот неизбежный распад. Но не принимает ли оно в силу своей центрированной роли густоты табу и запретов, в силу своего элитарного и одновременно пассивно-массового характера — черты настоящей Идеологии? Не становится ли его мировоззрение ее невольным Субститутом? Утверждая, что "глубиннейший ствол нашей жизни — религиозное сознание, а не партийно-идеологическое", он ставит его тем самым на одну доску с Идеологией. И неспроста Солженицына влечет принцип "самостеснения", на который опирается любая идеология, вытесняя все, что не отвечает ее моральным, идейным критериям.

Что предлагает Солженицын вместо "западного идеала неограниченной свободы" и "осознанно-неизбежного ярма" социализма? Если мы правильно поняли, авторитаризм как историческую неизбежность и самостеснение как осознанную необходимость?

В позиции писателя слишком много несомненного, кровью

оплаченного, чтобы была нужда огораживать его стеклянным колпаком от малейшего аналитического ветра. При всем своем пронзительном чутье и громовой силище голоса Солженицын — не вседержатель истины (вспомним, во что обошлась нам вера в них), а соискатель ее вместе с нами грешными. Не будем же бальзамировать его заживо. Истина рождается в дискуссии до того как попасть в мавзолей.

Следуя этому убеждению, я пытаюсь рассматривать писателя не как классика, а как живое, развивающееся, не застывшее еще в бронзу явление. Благоговейная робость, наподобие той, что испытал Саня Лаженицын в Ясной Поляне перед "великим старцем" и над которой немало посмеялся Солженицын, была бы дурным помощником. Нам не доводилось воскуривать фимиам в бытность советским критиком, незачем заниматься этим и в эмиграции.

Поскольку расследованию подлежит связь между художественной моделью "Августа" и историческими взглядами автора и поскольку здравый смысл и интуиция подсказывают, что ее своеобразие и противоречия продолжают своеобразие и противоречия общественного проекта писателя, работа принимает откровенно политический оборот.

А в этой области еще никому не удавалось быть беспристрастным. Преклоняясь перед автором "Архипелага" и расходясь с ним во взглядах, не преуспею в этом и я. Симулировать научную объективность, которая в политологии часто подразумевает подмену дискуссии педантичным нравоучением, выглядело бы претенциозно и жалко на фоне солженицынской громады.

## И СЛАВЯНОФИЛ, И ЗАПАДНИК

Таким лирическим отступлением, долгожданной оказией высказать свое исследовательское кредо завершим генезис солженицынских идей и перенесем теперь их контуры на историко-политическую карту России.

Прежние славянофилы были, как известно, противниками капитализма и хранителями коммунально-общинных ценно-

стей, в коих тогдашние западники усматривали тормоз прогрессу и оплот деспотизма. Нынешние национально мыслящие русские за исключением крайних националистов махнули рукой на "буржуазный национализм и раздробленность", и частная собственность стала для них залогом экономического и духовного здоровья любой цивилизованной нации. Выйдя когда-то из социалистических представлений о русском народе как о неприспособленном и слишком хорошем и широком для капитализма, они забыли нынче о своих идейных дебютах. Прежние славянофилы призывали власть и интеллигенцию заряжаться от народа мудростью и истиной — их наследники берутся воспитывать народ, нести в народ Евангелие и, вернув его к благочестивой, трудовой, честной и скромной жизни, строго оберегать от дурного глаза.

"Кривая" западничества — более плавная. Увлекаясь в прошлом веке Фурье и Сен-Симоном, западники и сейчас открыты идеям демократии, реформизма и "демократического социализма".

Окончательного закрепления признаков за обоими видами тем не менее не произошло. Случаются и славянофилы — либеральные демократы (центристы) и умеренные социалисты (мы не касаемся национал-большевиков, чтобы остаться в оппозиции); нередкость и западники — приверженцы авторитаризма, но без православия и народности.

Привязанность к праву и законности — единственное связующее звено различных течений русского диссидентства и Солженицына с демократами: "У нас ведь права нет, закона нет, да и человека нет — есть документ!"\* В осуждении социалистических тенденций и "демократической анархии" он смыкается с "правыми" славянофилами и западниками.

Трения и полемика между всеми этими группами, осколками прежнего идеологического монолита, достигают уже такого накала, что в них можно видеть зародыш партийной

\* Архипелаг ГУЛаг, т. 3, стр. 468.

междоусобицы, происходящей в любой либеральной стране\*.

Преувеличивать влияние их спора на общественное сознание страны не следует. Разногласия интеллектуальной элиты еще не проникли в народ. В инженерно-технической и рабочей среде распространены в основном продуктивистские настроения, желание высвободиться из удушающих объятий Плана и идеологической бюрократии, устранить все, что стоит на пути технологического прогресса и мешает России стать обществом потребления. Собственно политическое сознание, если вынести за скобки всеобщее недовольство системой и вождями, пребывает в эмбриональном состоянии (уверенность в несокрушимости системы и бесполезности борьбы с ней убивает надежду на его скорое развитие) и подчинено экономическому императиву. Но стремление к порядку как к противоположности бюрократического произвола и хаоса, коррупции, блата и воровства (уличная мудрость гласит: "У нас воруют все, кроме академика Сахарова"), недоверие к западным демократиям, легко идущим на уступки советскому правительству и неспособным дать отпор его непопулярному в стране внешнеполитическому курсу, — делают русского читателя весьма восприимчивым к консервативным акцентам Солженицына.

Его идеи, национальные, но без чрезмерности, соединяющие в себе беспощадную, революционную критику режима с авторитарной проповедью, находят сочувственный отклик во

\* Двойное деление политических группировок по социальному и национальному признаку — не только русский феномен. Существует он и в других странах, в той же Франции, где имеются левые и либерально-консервативные "убежденные европейцы". И левые и правые националисты, ущемленные американским могуществом, то есть коммунисты и голлисты. В отличие от голлистов, коммунисты прячут свой комплекс в идеологический жаргон, в одежды "пролетарского интернационализма" и "антиимпериалистической борьбы". И те, и другие — "друзья" Советского Союза и гордятся его достижениями, коммунисты — социальными, голлисты — имперскими.

Игра между четырьмя основными долями французского партийного яблока позволяет футурологу предугадать политический калейдоскоп и его комбинации в будущей России партий.

всех слоях населения, хотя и моральный максимализм писателя ("виноваты все и замараны все") настораживает и сужает его отечественную аудиторию. Как бы то ни было, Солженицын больше, чем кто-либо другой, вправе считать себя выразителем самых широких чаяний.

### ПО КОМ ЗВЕНИТ КОЛОКОЛ СОЛЖЕНИЦЫНА?

Дробление свободы на внутреннюю и внешнюю в спектре солженицынского сознания — чисто советский зрительный феномен. Внутренняя свобода воспринимается таковой, когда конфискуются всякие политические права и надежда на них в обозримом будущем. В качестве недопустимой, абстрактной категории свобода, вчера еще бывшая мотором общественного движения, перестает ощущаться предметом первой необходимости. Люди мечтают о картошке и о том, чтобы не загреметь в лагерь, а не о выборах с несколькими кандидатами. И к политической свободе в условиях, напоминающих советские, складывается несколько ироническое отношение, как к рябчикам и к ананасам, вкус которых сохранился только в литературе и на сытом легкомысленном Западе. Отсюда один шаг, чтобы почитать ее причиной вчерашней гибели и недопустимой, развращающей роскошью завтра.

Вечный оппонент Солженицыне Дм. Панин, его бывший герой, выведенный ("В круге первом") под именем Сологдина и споривший с автором, прототипом Нержина, еще в марфинской шарашке, напоминает романисту старинный лагерный девиз: "Раб снаружи — внутри воин". Очевидно, эта дуалистическая максима прошла глубокой бороздой по сознанию писателя. Но в лагере она имела более мажорный смысл. Его-то по-прежнему и чтит Панин. Так же, как зэк, вынесший из лагеря внутреннюю свободу, становится на воле вполне нормальным человеком, ничем не отличающимся от прочих юридически свободных граждан, а в чем-то покрепче и выносливее их, так и население великой страны, выйдя за ограду идеологического лагеря, проявит себя свободным во всех

отношениях и беспрепятственно включится в концерт цивилизованных наций.

Позывные же Солженицына, настраивающие граждан на молитву и самосовершенствование, лишь отвлекают от политического движения, от революции. И раз демократия по плечу папуасам, то надо быть поистине невысокого мнения о своем народе, чтобы сомневаться в его готовности.

Для Солженицына такие расчеты грешат безответственным оптимизмом. Ему кажутся спорными и призрачными преимущества, ожидающие зэка за лагерными воротами. Физическая свобода оплачивается здесь исступленной, поглощающей человека без остатка борьбой за выживание и превращением его в тварь дрожащую. Рядом с лагерником, выпростанным из материального кокона и семейных уз, "вольняшка", то есть обыкновенный советский человек, бесконвойно перемещающийся в пространстве, — существо более низкой духовной организации. "В круге первом" бывалый зэк инженер Бобынин смеется в лицо всемогущему министру госбезопасности Абакумову: "Человек, у которого вы отобрали все — уже не подвластен вам, он снова свободен".

А вылетев мысленно, а затем и собственной персоной за железный занавес, в русское завтра, скалькулированное западниками по европейскому шаблону, внутренне свободный человек узнает, что такое мир сплошной свободы. Он находит его элиту в добровольном плену той человеконенавистнической доктрины, что у него на родине усваивается не иначе, как из-под палки. В чаду "опереточных" избирательных баталлий, телевизионных "переговариваний друг друга", в неоновой свистопляске рекламы, подстегивающей потребление, бледнеет и исчезает свет той свечи, которую он пронес в зажатом состоянии через Сибирь географическую и идеологическую.

Выходит, последовательное расширение формальных свобод, физической и политической, не приносит долгожданного избавления, а наоборот, притупляет в человеке способность к сопротивлению. Кому есть, что терять, тому труднее сохранить себя, не дать загасить в себе "Божий огонь".

В расслабленной и тепличной повседневности лагерь вспоминается своего рода пустыней, монастырем, где в обстановке крайнего опрощения, сжатия и укрощения плоти добываются золотые крупы истинной свободы. Солженицын благословляет в "Архипелаге" испытания, сделавшие из него, из надменного офицера, из потенциального литературного функционера, призванного иллюстрировать в сценах и образах решения партии и правительства, — бойца, писателя милостью Божьей.

Поселившись нынче на краю Америки и обнеся высоким забором свой двор, Солженицын создал в новой американской неволе условия, близкие к натуральным. Здесь, в уединении, посещает его суровая лагерная муза, избегающая пус-того и безблагодатного общения с советскими и западными "вольняшками".

## И СНОВА ЗИГЗАГ

Но слышать у Солженицына проповедь возвращения к природе (а природа XX века — лагерь) было бы слушать его одним ухом. Хотя изложенный ход мысли нами не выдуман и довольно часто прошивает страницы его произведений, мы отыщем в них же все, что опрокидывает эту цепь рассуждений.

Начнем с того, что лагерь есть лагерь, фабрика уничтожения и растления человека. Всякий, вышедший из него живьем, несет до конца дней свою вину перед теми, кто оставил там кости, ибо в лагере, признается Солженицын, можно выжить только за чужой счет.

Думы работяги всегда одни и те же: как бы закосить лишнюю миску баланды, выпросить окурков, перехватить с чужой посылки... Наружное рабство не проходит бесследно для его человеческой сердцевины. В середине срока Иван Денисович уже и не знает, хотел бы он на волю или нет. Сохранить душу неповрежденной удастся редким праведникам, наделенным особой "точкой зрения, которая становится дорожкой самой жизни", таким, как Алеша-баптист, но им-то и не удается сохранить жизнь.

Далее. Из двух видов материального порабощения, восточного и западного, последний все же менее невыносим, на вкус Солженицына. Отчуждение потреблением можно обуздать рас-судком и волей, нравственным внушением. А как сэкономить на самом необходимом? Воспроизводство рабочей силы обходится крайне дорого в стране победившего социализма. Грошевый заработок нужно еще суметь истратить на еду, одежду, обувь. И все это не так легко найти, особенно в провинции, куда не доходит скудный ручеек материальных благ и подернутый умилением взгляд иностранных доброжелателей режима. Человеку, занятому без передышки изнурительной и унижительной охотой за самым необходимым, за самым на-сущным, не остается времени на душу.

Наконец, в стране, где "права нет, закона нет, да и человека нет — есть документ", где каждый шаг подвергнут административному надзору, где выбор места жительства и занятия произвольно ограничен, — нельзя рассчитывать на взаимное уважение и достичь когда-нибудь того возраста, когда с человека допустимо спрашивать в полной мере за его поступки.

Поэтому для Солженицына правовое общество — гарантия гражданского раскрепощения страны, а конкурентное, рыночное хозяйство — раскрепощения материального. Писатель оправдывает богатство немногих, когда ему сопутствует безбедное существование трудящегося большинства, когда оно — не причина всеобщей пауперизации.

В "Архипелаге" и в "Августе" Солженицын несколько раз останавливается на том, как привольно было студенту в царской России. Как легко ему было прокормиться, обеспечить прожиточный минимум и уйти с головой в учебу, науку. Здоровые телом и духом студенты "Августа" выгодно отличаются от полуголодных, задерганных вузовцев из общежития на Стромынке ("В круге первом").

Но Солженицын не просто радуется материальному достатку до революции. На примере Ленина он показывает, как опасно сознательное и экзальтированное воздержание от нормаль-

ной жизни, от физического здоровья, полноты ощущений и бытия. Доведя себя до монастырской нищеты, забившись в кабинетный угол, подальше от солнечного луча, шума городской толчеи, красок и запахов земли, Ленин создал взаперти Идеологию, принесшую всем небывалое в истории отчуждение, духовное и материальное.

А теперь представим себе недоумение западного читателя, который, ознакомившись с "Августом" и "Лениным в Цюрихе", включает вечером телевизор и смотрит, как Солженицын мечет громы и молнии в общество потребления, в безбожный материализм, попутавший Запад лет триста назад и грозящий ему сейчас окончательным уничтожением.

Поставим себя на место советского читателя, прослушавшего по иностранному радиовещанию главы из эпопеи, а потом прочитавшего в самиздате статьи "Жить не по лжи" и "Образованщина", зовущие его пойти на любые жертвы, на любые материальные ущемления, только бы жить не по лжи, только бы не соучаствовать в идеологическом балагане и в публичных аутодафе: "Пусть мои дети на корочке вырастут да честными!"

Нужно немало самообладания, чтобы славить "нож в грудь стукача!", упиваться "заразой свободы", что "рванула нам ураганом в легкие" и рекомендовать одновременно с этим смирение, раскаяние, жертвенность, воздержание от внешних свобод.

"... Ряды гуманных книг нависают надо мной с настенных полок, — спешит в "Архипелаге" Солженицын предупредить смятение читателя, — и тускло-посверкивающими ненowymi корешками укори́зненно мерцают, как звезды сквозь облака: ничего в мире нельзя добиваться насиле́м! Взявши меч, нож, винтовку — мы быстро сравняе́мся с нашими палачами и насильниками. ... Здесь, за столом, в тепле и в чисте, я с этим вполне согласен".

Там же, на пронизывающем экибастузском ветру, слова эти, насколько мы понимаем, выглядят жалкими филистерскими отговорками и благочестивой трусостью.

Писатель откровенен с читателем, но тому от этого не легче. Солженицын как-то забывает, что среди укори́зненно мерцающих ненowych корешков затесались его собственные, недавние. Каких же слушаться? Задуманных там, "когда в зоне пылала земля", или же тут, "за столом, в тепле и в чисте", где-нибудь в Подмоскowie или в Швейцарии?

К счастью для него, такие вопросы — логическая фикция. Читатель никогда не мучается ими. И нам незачем ставить себя на его место, чтобы знать это наверняка. Все эти чувства — недоумение, растерянность, смятение — неизбежные, казалось бы, и естественные реакции на солженицынские неувязки, не осложняют и не омрачают наш роман с писателем. Мы принимаем его за человека одной страсти, одного куска, и его противоречивые указания не сбивают нас с ноги. Они словно не достигают нашего сознания. Каждый из нас облюбовал у Солженицына "свою" территорию и усекает лишь ее язык.

Для Оливье Клемана Солженицын — стопроцентный христианский писатель. В любой строчке вырванной он отыщет у него затаенный библейский смысл и подберет к нему "параллельный текст" из Святого Писания.

Клод Лефорт не нахвалится "хорошим марксистским языком" Солженицына, безупречностью его марксистского чутья. Особенно нравится критику экономический анализ, посвященный быту "туземцев" ГУЛАГА, пускай и проделанный в пародийных целях.

Обе характеристики не расходятся с истиной. Разумеется, Солженицын верует в Бога. Разумеется, марксистская подкованность Солженицына выше, чем какого ни возьми члена Политбюро, и вероятно, всех их вместе взятых заткнет он за пояс по этой части. Но как же упускать, что Солженицын ненавидит марксизм и что ему не хватает определенных качеств, например, милосердия и терпимости, без чего не состоится христианский писатель!

Отзывы на него напоминают мнения слепых мудрецов из индусской сказки. Ощупав по очереди слона, они высказывают о нем разноречивые толки: это и столб, и кость, и мяг-

кая ушная ткань... Мне пришла на ум эта сказка при чтении французской прессы по поводу "Ленина в Цюрихе". Левая критика расценила книгу как необычайные похождения сверхчеловека и сверхзлодея Ульянова и своего рода исторический вестерн. Правая — как сагу о бесцветном и бесстрастном партийном функционере, вышвырнутом на поверхность истории неразборчивым водоворотом событий в качестве "орудия высших сил" (чем не марксистское понимание вещей?).

До сих пор, говоря об идейной и психологической чересполосице солженицынского творчества, мы имели в виду разные произведения и статьи, по которым растасованы составные части противоречий, в чем и выражается их "устранение". Но, судя по откликам дезориентированной критики, противоречий еще немало остается и в отдельной книге. Труд этот, видимо, не доведен до конца, как, впрочем, и всякий сизифов труд...

### АНТИСЕМИТ ЛИ СОЛЖЕНИЦЫН?

Суварин, оспаривая подлинность ленинского образа, считает ложным малевать героя одной краской, потому что "у Ленина можно найти все и отрицание всего"\*. Суварин не замечает, что солженицынский герой не столь уж схематичен и однотонен (человек левой формации, он присоединяется к первой версии и игнорирует второе прочтение) и что у самого Солженицына тоже "можно найти все и отрицание всего"...

Так, Симон Маркиш, упрекая писателя в антисемитизме, не высасывает это утверждение из пальца. "Солженицынский Исаак Бершадер, — пишет Маркиш о персонаже из второго тома "Архипелага", — без труда находит свое место в веренице чудовищ и уродов с антисемитских плакатов и карикатур". Напомним, что "старый грязный жирный кладовщик Исаак Бершадер"\*\*\* не давал проходу гордой русской девушке, лейтенанту-снайперу, угодившей в бараки прямо с передовой.

\*Статья "Солженицын и Ленин" в журнале "Est & Ouest", № 570, 1976, стр. 122.

\*\*Архипелаг ГУЛаг, т. 2, стр. 226.

"Он был корягой гнилой, она — стройным тополем", — морщась, цитирует Маркиш и заключает: "Старый и гнусный жид, покушающийся на "белую лебедь", — сюжет для пропагандистского плаката, ... предупреждающего наивных и невинных ариек против еврейского сластолюбия и коварства"\*.

И нам нечем возразить Маркишу, кроме, пожалуй, того, что в "Августе" Солженицын делает образчиком гражданско-го поведения не кого-нибудь, а инженера Архангородского, за что автору достается на орехи уже от национальной критики, недовольной ролью "положительного еврея".

Не царские генералы у Солженицына, не вылезавшие в "Августе" из молебенов, а еврей Архангородский — настоящий патриот русской земли. И синагогальная община Архангородского ничем не портит в романе идеального социально-исторического русского ландшафта, не захламляет просторов родины. Чтобы познакомиться с зоологическим антисемитизмом, нам нужно отведать не Солженицына, а Шиманова\*\*

Сочетание же в Солженицыне жидоеда с жидолюбом — лишнее подтверждение феноменальной противоречивости писателя и бесполезности целенаправленной моральной критики в его адрес.

Будучи даже оправданными, обвинения и критика почти всегда выглядят односторонними, потому что опровергаются другой, не инкриминируемой частью его творчества. Зоилы Солженицына не убеждают до конца, несмотря на искренность чувств и неотразимость приведенных цитат. Споря с ним,

\* СИОН, № 14, стр. 113.

\*\* "Поскольку евреям не удастся разложить до состояния навоза ни один народ, и ни одному народу не удастся, в свою очередь, ни ассимилировать евреев, ни вытолкнуть из себя, ни нейтрализовать их разрушительное влияние, то в результате оказывается мучительная для обоих борьба: почвенный организм страдает от рези и головокружения, причиняемых ему однородным малым организмом, а этот последний ощущает на себя малоприятное, а иногда и нестерпимое давление ("дискриминацию") большого организма, не желающего стать почвой (навозом) для беспечального процветания еврейства".

мы, — я, во всяком случае, часто ловлю себя на этом — повторяю его же аргументы, изложенные в ином месте и по иному поводу.

Установить расхождения писателя с передовым курсом — студенческое упражнение. Куда сложнее и существеннее очертить угол расхождения между его собственными доводами и образами, докопаться до причин очередного зигзага. И хотя распутать некоторые из его противоречий было бы не по плечу самому искушенному диалектику, ко многим из них, запасись временем, терпением и доброжелательностью, можно все-таки подобраться и скинуть несколько туго затянутых петель...

У Солженицына нет, пожалуй, такой мысли, призыва, портрета, на которые можно было бы опереться, не опасаясь, что он вышибет почву из-под ног другой статьей, образом, заключением. Дидактический апломб, с каким он несет миру очередную весть, не должен обмануть читателя. Нет никакой уверенности, что в будущем году, в смежном произведении или же в следующем узле он не выявит абсолютную относительность ранее заявленного, не сметает с дороги, не похоронит в сердце (надолго ли?) очередную правду-матку и не ринется дальше, оставляя за спиной спорящих с пеной у рта критиков, защищающих вчерашнего Солженицына от позавчерашнего, мракобеса от революционера, социалиста от буржуазного либерала, реалиста от мистика, не сомневающих в своей правоте и подозревающих противника в грубой недобросовестности или благоглупости.

По ком звенит неумолчный колокол Солженицына? По властителям умов и душ, по небесным стрелочникам, по строгим пастырям, сбивающим в плотную кучу своих овец и назначающим им безошибочное направление. Прошли те славные времена, когда так сладко и надежно было ощущать плечо или мокрый бок соседа под их невозмутимо простертой дланью. Она дрожит и не находит единственно верного пути.

Но если пастыри не справляются со своей ролью, может

быть, это не так уж плохо? Может, со временем это притупит нашу мучительную потребность в них? И на смену духовному авторитаризму придет, наконец, долгожданная свобода мысли и мироощущения.

Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ

## ЧАС СМЯТЕНИЯ

Начнем с отставки Моше Даяна. В самом деле, что заставило его уйти из правительства, где он был одним из трех китов, на которых оно держалось (Бегин, Даян, Вейцман)? Почему стало невозможным дальнейшее сотрудничество? Ведь Даян пользовался полной свободой действий, он вел беседы с палестинскими лидерами, даже не информируя об этом главу правительства, который вынужден был скрепя сердце давать на это согласие.

Чтобы разобраться во всем этом, нужно восстановить обстоятельства присоединения Даяна к правительству Херута (вопреки тому, что он прошел в Кнессет по списку рабочей партии).

Пригласив Даяна, Бегин, несомненно, сделал политически дальновидный шаг: он понял, что присутствие Даяна придаст его правительству характер общенационального, а не узкопартийного кабинета. Поэтому он и принял главное усло-

вие Даяна: нераспространение Израильского суверенитета на земли Иудеи, Самарии и сектора Газы.

Так была создана коалиция Бегин—Даян, которая и правила страной два года. Надо признать, что только благодаря этой коалиции стал возможен мир с Египтом, основанный на возвращении Садату всех завоеванных территорий и даже на ликвидации израильских поселений, созданных на этих территориях. По словам американского посла в Израиле, именно Даян был архитектором Израильско-Египетского мирного договора.

Впрочем, за эту коалицию Бегину приходилось довольно дорого расплачиваться. Оппозиция, возникшая в его собственной партии, считала — и не без оснований — Моше Даяна "злым гением", уводившим правительство с правильного пути. И так было до тех пор, пока Израиль после соглашения с Египтом не вынужден был повернуться лицом к палестинской проблеме, приняв план так называемой палестинской автономии. Как это ни парадоксально, но именно мир и его последствия вызвали первые трещины в коалиции Бегин — Даян.

Как и следовало ожидать, противоречия начали подтачивать правительство изнутри: с одной стороны, не изменяя себе, Бегин не мог поступиться политикой, направленной на присоединение Иудеи и Самарии к Израилю, а с другой — прагматически настроенное крыло правительства, и прежде всего Даян, не могло согласиться с политикой, принимающей явно авантюристический характер.

Первым предвестником предстоящего обвала было голосование по поводу создания поселения Элон-Морэ. Три ведущих министра (кстати, все генералы — Даян, Вейцман и Ядин) голосовали против, но остались в меньшинстве. Другим предвестником было создание комиссии по переговорам об автономии, во главе которой был поставлен — какой парадокс! — не министр иностранных дел Моше Даян, а министр внутренних дел Иосеф Бург. Все это означало: нарастает и приближается правительственный кризис, и только "блаженствующие в Сионе" могли не услышать этого подземного гула. С уходом

Даяна правительство Бегина утратило свою устойчивость, осталось стоять как бы на одной ноге.

Даян представляет собой настолько крупную личность на политической арене Израиля, что его отставка не могла не приковать к себе всеобщего внимания в мире. После Бен-Гуриона не было другого политического деятеля в Израиле, который оказал бы такое многостороннее влияние на судьбы страны.

Правда, его звезда померкла во время войны Судного Дня, когда его политический прогноз — десять лет не будет войны с арабами — оказался ложным, и страна была застигнута врасплох. И все же вряд ли можно оспаривать, что и по сей день Даян является одним из самых здравых, конструктивных умов Израиля, способным в любой, самой сложной ситуации находить нетривиальные решения.\* Так, к примеру, уже перед своим уходом Даян выдвинул предложение об одностороннем уходе израильской армии с завоеванных территорий, для того чтобы облегчить бремя оккупации, испытываемое арабским населением.

Этим, по-видимому, объясняется то, что общественное мнение не может удовлетвориться заявлением Даяна о причинах его отставки. Он ссылается, например, на решение правительства (май 1979), в котором сказано, что после пяти лет автономии Израиль будет требовать установления своего суверенитета в Иудее, Самарии и секторе Газы. С этим решением, говорит Даян, он не может согласиться. Он против нового раздела страны, он против израильского, палестинского и вообще арабского суверенитета на контролируемых территориях, он за мирное сожительство евреев и арабов на этих землях. Но возможно ли все это без политического решения

\*Вот что писал о нем в газете "Давар" известный в Израиле поэт и журналист Хаим Гури: "Даян, будучи человеком номер два или три, все же оставался личностью номер один. Вот уже сорок лет, начиная с того времени, как он сидел в тюрьме Акко, фамилия этого человека всегда в заголовках газет. Он был героем романа. И замечательным, и ужасным. Стоял в центре жизни, на путях и к хорошему, и к плохому. Человек с черной повязкой на глазу... Он был иконой, предметом поклонения. Его преследовали родные погибших, которые в отчаянии требовали его головы, предназначенной для короны. Он был ареной

вопроса, без удовлетворения национальных интересов палестинцев? Пожалуй, более правильным будет предположить, что обостренное политическое чутье Даяна подсказало ему, что после установления мира с Египтом правительство Бегина исчерпало свои возможности, выдохлось: Что же касается автономии, то в перспективе — лишь верный провал.

Так или иначе, правительство без Даяна это уже иное правительство, и вопрос заключается в том, какое новое равновесие оно может обрести после ухода Даяна. Вначале казалось, что вместо коалиции Бегин—Даян придет коалиция Бегина с Шароном, министром сельского хозяйства, занимающим крайнюю аннексионистскую позицию и выступающим в роли патрона националистического движения "Гуш Имумим". Но теперь оказывается, что и после ухода Даяна в правительстве "всплыло" новое умеренное крыло во главе с Вейцманом, и Бегину снова приходится лавировать. А ведь кое-где ведутся разговоры о том, что не кто иной, как Вейцман, должен заменить больного и уставшего Бегина на посту главы правительства.

Если опуститься этажом ниже и отвлечься от верхушечных коалиционных комбинаций, то политическая ситуация приобретает более или менее ясные очертания. Шестидневная война была поворотным пунктом в жизни Израиля. До этого судьбоносным решением был раздел страны, при котором каждый из двух враждующих народов установил свой национальный суверенитет над частью Палестины. Но победа в Шестидневной войне, отдавшая в руки Израиля вторую часть страны, предназначенную для арабов, снова пробудила в довольно широких слоях населения тоску по "целостному Израилю". К этому присоединились интересы национальной безопасности, требовавшие расширения стратегически важных для обороны территорий. Именно с тех пор народ Израиля оказался в положении сложном, противоречивом и взрывоопасном. Поистине, наступило смутное время в жизни страны.

боя, и Нагалал, и литература, и Альтерман, цитируемый им... Очаровательный и развращенный. Тот, кто мог сделать такой подлый шаг — пойти служить в правительство Бегина, будучи избранным в списке рабочей партии, — не может подать в отставку."

Чем на самом деле была для Израиля победа в Шестидневной войне — трамплином к его возвышению или победой, заключающей в себе поражение? Как выразился один арабский журналист, "Израиль проглотил змею". В результате этой победы арабо-еврейский конфликт возвратился к своему исходному пункту: борьба двух народов за обладание одной и той же страной.

В статье "Права евреев и неевреев в Палестине" (1915) Бен-Гурион писал: "Мы хотим укрепить еврейский народ на его родине и вернуть страну народу, но мы знаем, что эта страна, хоть и не густо, но заселена, и мы не стремимся изгнать ее население. Если бы это было задачей сионизма, если бы сионизм стремился унаследовать место теперешних жителей страны, то мы оказались бы перед лицом опасной утопии, ложного идеала, вредного и реакционного. Действительное стремление и реальные возможности сионизма — это не завоевание завоеванного, а закрепление на местах, где теперешние жители страны отсутствуют".

Создав свою национальную экономику, параллельную существующей, арабской, но на более высоком социальном и техническом уровне, сионизм по сути своей не имел ничего общего с колониализмом.

Однако со времени завоевания арабских территорий в Шестидневной войне положение начало меняться, и это — пожалуй, основная пертурбация, происшедшая в сионизме. Здесь, как часто бывает в политике, решающую роль сыграл фактор времени. Если бы, как предполагалось, территориальные завоевания послужили бы мостом к миру в течение известного промежутка времени, то никакой проблемы не возникло бы. Это были бы не более, чем временные завоевания. Но эти "временные завоевания" обрели некий статус (они затянулись ни много, ни мало — на 12 лет), и временное явление стало как бы постоянным. Результатом явилось палестинское национально-освободительное движение, борющееся против израильской оккупации и сопровождаемое кровавым террором.

Конечно, враждебные Израилю арабская и советская про-

паганда создали совершенно извращенную картину, пытаясь уподобить израильский оккупационный режим нацистскому. В действительности скорее обратное: вряд ли история знала такой либеральный режим оккупации. Напомним, что до сих пор, несмотря на кровавый террор со стороны арабов, Израиль не знает ни одного смертного приговора, вынесенного террористам. Но даже самый справедливый оккупационный режим остается оккупацией, и против него можно возражать не только потому, что он бесчеловечен, но и вопреки тому, что он человечен.

Такова диалектика победы Израиля: она превратилась в огромный стимул роста арабского терроризма, слившегося с арабским национальным движением и завоевывающего симпатии мира. Тогда как Израиль день за днем теряет свой моральный авторитет.

## РАСКОЛ

Другим важным последствием Шестидневной войны стал раскол среди самого народа Израиля. Сила Израиля всегда заключалась в единстве национальной воли, теперь это единство было утрачено. Значительная часть населения, как я уже говорил, поддавалась соблазну обрести "целостный Израиль" и увековечить территориальные захваты, но это значило увековечить конфликт, ибо миллион-полтора миллиона арабов, проживающих на контролируемых территориях, никогда не согласятся с израильским господством.

Другая часть народа, напротив, предпочитает мирное решение арабо-еврейского конфликта "целостному Израилю", потому что понимает, что в создавшихся исторических условиях существует реальная угроза его превращения в двунациональное государство (три миллиона евреев против двух миллионов арабов), а этого никто в стране не хочет.

После двенадцати лет ожидания и политических маневров палестинская проблема созрела и настойчиво стучится в ворота Израиля. Весь вопрос в том, готов ли он принять однозначное решение. Час такого решения пробил, и выбор должен быть сделан.

Когда мы говорим о том, куда идет Израиль, то мы прежде всего исходим из того, что время, отпущенное ему историей, истекает. Об этом свидетельствует как растущая международная изоляция страны, так и ее внутреннее положение. Похоже, что давление националистических сил, и прежде всего "Гуш Имуни", достигает своего предела. Сможет ли правительство выдержать это давление и дожить до очередных выборов? Нам это кажется маловероятным. Оно должно будет пасть как под напором внутренних противоречий, так и растущего недоверия со стороны мирового общественного мнения. Ведь в конечном счете вопрос о завоеванных территориях — это не вопрос тех или иных воззрений или абстрактной справедливости, это вопрос реального соотношения сил. В 1967 году Насер пытался переиграть игру и в конце концов надорвался из-за отсутствия достаточных сил. В той же ситуации оказался Израиль. Располагает ли он достаточными возможностями, чтобы навязать свою волю палестинцам и солидарным с ними арабским народам? Война Судного Дня явилась в этом смысле серьезным предостережением. Может ли он позволить себе пренебречь столь важным уроком истории?

Однако и этим не исчерпывается вопрос о политических перспективах страны, больше того, это даже не самое главное. Главное — удастся ли Израилю избежать братоубийственной войны? Он уже подвергался такой опасности в прошлом, в 1948 году, когда только создавалась израильская армия и само государство было в пленках. Тогда была предпринята попытка со стороны предшествующей Херуту и возглавляемой Бегиним военно-националистической организации привезти пароход с оружием. Оружие должно было поступить в бесконтрольное пользование этой организации. Единство и авторитет только что созданного государства оказались в опасности. Возглавлявший тогда правительство Бен-Гурион действовал быстро и решительно: был отдан приказ стрелять по пароходу, были жертвы, но, как говорится, и инцидент был исчерпан. Что предстоит Израилю пережить теперь?

## ПЕРЕД УГРОЗОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Парадоксальность положения заключается в том, что правительство Бегина само занимает межумочную позицию: с одной стороны, его декларированной целью является присоединение завоеванных территорий к Израилю, с другой стороны, в качестве правительства, связанного международными обязательствами, оно не может разрешить себе прямолинейную аннексионистскую политику. Таким образом, правительство само, своими собственными руками раздувает огонь сепаратистских действий со стороны националистических сил. И поскольку в руководстве Бегина имеются элементы, открыто поддерживающие и поощряющие эти силы, то в результате образовалось правительство в правительстве, тесно связанное с внепарламентскими факторами, опирающимися на силу.

Если посмотреть на вещи трезво, то нельзя не видеть, что накапливается много горючего материала, что атмосфера накаляется и что где-то за углом прячется серьезная угроза. История раскрывает свой смысл медленно, но верно. В тот момент, когда принят был план раздела Палестины на еврейское и арабское государства, умерла идея "целостного Израиля". Попытка оживить этот миф после Шестидневной войны исторически обречена.

Но кто же эти "блаженствующие в Сионе", упорно стремящиеся изменить ход истории? Это, во-первых, часть партии Херут, чувствующая себя обманутой и готовая идти напролом. Спасения эти люди ищут не в оздоровлении народа, а в расширении границ государства. Во-вторых, это — "Гуш Имуни", преимущественно религиозная молодежь, выходцы из ешиботов и молодежных организаций. Для них обетованная земля — не пустой звук, и они готовы ради нее пойти на многое и даже взяться за оружие. Наконец, это — офицерский корпус в отставке, с его стремлением навести "порядок" в стране.

Никто в Израиле не хочет гражданской войны, все хорошо помнят уроки еврейской истории еще со времени восстания

против римлян. Однако вопрос заключается в том, согласятся ли одержимые фанатики подчиниться воле большинства без применения силы?

Один из видных деятелей партии Труда Лева Элияв писал в своей книге "Лестница Израиля — мечта и падение" (1976): "Тот, кто полагает, что слово "восстание" слишком ужасно, пребывает в сладостном сне. Израиль полон оружия... Если создастся положение, когда подпольные и полуподпольные организации решатся "взять закон в свои руки" — у них не будет недостатка в вооружении".

Существует реальная опасность, что внепарламентская оппозиция доведет спор до последней черты. Это будет черным днем израильской демократии, тогда не останется другой альтернативы, кроме гражданской войны в тех или иных формах. Правительство, которое развяжет руки националистическому меньшинству, станет на путь национальной катастрофы.

## ПЯТЫЙ АКТ

Израильская драма неуклонно приближается к своему пятому акту. Первый акт — завоевание независимости на арене ООН и в кровопролитной войне против арабских государств. Второй акт — строительство еврейского государства в условиях вооруженного мира, прерванного Синайской войной и пребывание в осаде вплоть до Шестидневной войны. Третий акт — Шестидневная война, принесящая Израилю блестящую победу и большие территориальные завоевания. Четвертый акт — война Судного Дня, явившаяся историческим предостережением для страны, мир с Египтом, самым крупным сорокаmillionным арабским государством, мир, в результате которого Израиль вынужден был возвратить все завоеванные территории. Похоже, что теперь израильская драма приближается к своему пятому акту, самому тяжелому из всех предыдущих. Народу Израиля предстоит справиться с самим собой. Удастся ли ему это?

Собственно, вопрос может быть поставлен иначе: историче-

ская необходимость продиктует Израилю выход, но удастся ли ему проскочить через горящий лес без братоубийственной гражданской войны?

История не знает ни жалости, ни сострадания. Но в одном можно быть уверенным: за сегодняшним политическим расколом нации скрывается духовное единство народа, оно не только в исторических традициях, но это и глубокое, экзистенциальное единство. И если, не дай Бог, стране придется пережить братоубийственную войну, то из пепла ее родится новый Израиль, иной сионизм.

Впрочем, существует — и мы в нее верим — совсем другая возможность. Что бы и о чем бы ни трубила арабская и советская пропаганда, мир теперь ближе, чем он был когда-либо. С одной стороны, влияет путь, избранный Египтом и Израилем, с другой — арабский фронт отказа доказал свою бесплодность и никчемность.

Без участия Египта новая война кажется маловероятной. Существует еще одно важное обстоятельство: войны не хотят наученные горьким опытом палестинские арабы, жители Иудеи, Самарии и сектора Газы. Они хорошо знают, что она принесет им национальную катастрофу — изгнание с насиженных мест. Непримируемость организации Арафата — во многом дутая, ибо не имеет под собой реальной почвы, и ее можно опрокинуть, проколов этот дутый баллон. Но для этого нужна инициативная политика, которая, атакуя арабскую непримируемость, поощряла бы вместе с тем умеренность, и разумный конструктивный подход к разрешению конфликта. Правительство Бегина на эту политику просто не способно, и в этом его обреченность.

## В ЗАЩИТУ АЛЬМАНАХА "МЕТРОПОЛЬ"

*Телеграмма пяти американских писателей.*

Пять видных американских писателей направили выраженный в резкой форме протест в адрес руководства Союза писателей СССР в связи с тем, что ССП запретил издание альманаха "Метрополь", в котором приняли участие 23 советских литератора, а двоих из них исключил из Союза писателей.

Телеграмму подписали Эдвард Олби, Артур Миллер, Уильям Стайрон, Джон Апдайк и Курт Воннегут. Ее текст был опубликован в газете "Нью-Йорк Таймс".

По мнению американских писателей, попытка издания альманаха "Метрополь" — это акт большого мужества, исторический момент в борьбе советских писателей за свободу творчества.

Пять американских писателей заявили о своей солидарности с соавтателями и авторами "Метрополя" и выразили надежду на то, что их требования будут удовлетворены в соответствии с нормами права, справедливости и исходя из уважения человеческого достоинства.

В телеграмме подчеркивается, что после того, как участники альманаха попросили разрешения на его издание, минуя цензуру, на них обрушились официальные санкции. Просьба об издании альманаха в СССР была отклонена, а двое его авторов — Евгений Попов и Виктор Ерофеев были исключены из Союза писателей.

Мгновенная отрицательная реакция советских властей, объявивших содержание журнала второсортным и порнографическим, демонстрирует всеобъемлющий страх перед свободой слова и решимость со стороны официальных властей задушить ее.

"Мы протестуем против этих преследований и выражаем свое восхищение позицией таких известных писателей, как Василий Аксенов, Фазиль Искандер, Андрей Битов и Белла Ахмадулина, которые, рискуя своим собственным положением, заявили, что они также выйдут из Союза писателей, если их товарищи не будут восстановлены в своих правах", — заявили американские писатели.

---

*Феликс КУЗНЕЦОВ*

## О ЧЕМ ШУМ

Уважаемые коллеги!

Получил вашу телеграмму по поводу альманаха "Метрополь". Хочу сообщить вам, что аргументы, содержащиеся в телеграмме, которые побудили вас столь решительно высказать протест, не показались мне убедительными. Наверное, сказалось то, что вы недостаточно осведомлены в сути поднятого вопроса. Позволю себе, уважаемые коллеги, восполнить этот пробел.

Несколько московских писателей составили сборник и издали его у вас в Соединенных Штатах Америки. Другие советские писатели, в том числе и я, члены того же творческого союза, высказали по этому поводу свое критическое мнение и опубликовали его в профессиональной газете писателей "Московский литератор", выходящей тиражом две тысячи экземпляров. Полагаю, вы согласитесь, что литературная полемика — дело здоровое, оно реализует право писателей на критику работ своих коллег. Словом, это давно установив-

шаяся традиция в советской литературе, и ничего чрезвычайного в этом нет.

Однако вот уже более полугода крупнейшие буржуазные газеты ведут полемику (отнюдь не литературную) с "Московским литератором". Они со старанием, достойным лучшего применения, защищают "Метрополь" от любой попытки критики, пишут о каких-то "репрессиях" и "преследованиях" его составителей. На мой взгляд, создавать на пустом месте максимум пропагандистского шума и звуковых эффектов — дело неблагодарное. Более того, вредное, ибо оно вводит в заблуждение даже серьезных, думающих людей, к числу которых я не устаю вас причислять.

Все это заставляет нас считать, что издание Карлом Проффером сборника "Метрополь", да еще таким путем (с тайной, неофициальной, в обход советских законов, передачей оригинала рукописи издателю), — заурядная пропагандистская акция, которая не укрепляет взаимопонимания между нашими литераторами.

Не хотелось бы верить, что в эту кампанию, столь привычную людям определенного уровня, воспитания и мировоззрения, теперь включились и вы, уважаемые и известные писатели. Прискорбно, что именно со стола пропагандистских ремесленников вам попадают факты, о которых вы, к примеру, пишете в своей телеграмме: "Мгновенная отрицательная реакция советских властей, объявивших содержание журнала второсортным и порнографическим, демонстрирует всеобъемлющий страх перед свободой слова и решимость со стороны официальных властей задушить ее".

Неправда!

Неодобрительная реакция на профферовский сборник была. Но не "официальных властей", а писателей!

Около тридцати авторитетнейших советских писателей, среди которых — лично известные вам по литературным встречам Сергей Залыгин, Юрий Бондарев, Григорий Бакланов, Борис Полевой, Виктор Розов и другие, внимательно прочитали и обсудили этот сборник, представленный его составителями в Московскую писательскую организацию уже пос-

ле того, как они передали его в "Ардиспресс". Результаты этого обсуждения и были опубликованы в газете "Московский литератор" под названием "Мнение писателей о "Метрополе": порнография духа" (перевод этой публикации на английском языке вы можете прочитать в журнале "Советская литература" на иностранных языках, № 5, 1979). Вы, разумеется, вправе не согласиться с такой оценкой "Метрополя", недостаточное ли это основание, чтобы направлять по этому поводу официальный протест? Мы же не протестуем по поводу издания в вашей стране недоброкачественных сочинений, собранных в "Метрополе"! Наслаждайтесь на здоровье, если у вас своей такой литературы мало!

Протест ваш странен еще и потому, что сборник "Метрополь" вышел в Штатах, как известно, не на английском, а на русском языке, которым, если мне память не изменяет, вы не владеете. Не хочется думать, исходя из этого обстоятельства, что вы судите о "Метрополе", не прочитав его. Почему же в таком случае столь пристрастное, слепое доверие к одним и столь же пристрастное недоверие к мнению других, причем авторитетнейших советских писателей, которые имели возможность изучить содержание альманаха на родном языке?

Кстати, нетрудно убедиться: все то, что в "Метрополе" было сколь-нибудь эстетически ценным, вполне могло найти или уже нашло у нас издателя — скажем, стихи А. Вознесенского ранее опубликованы в его сборнике "Соблазн" тиражом 200000 экземпляров, рассказ Ф. Искандера ранее вышел в журнале "Дружба народов". Но таких произведений в этом сборнике, к сожалению, мало.

Несостоятельным же в художественном отношении сочинениям, которых так много в "Метрополе", у нас, как, надеюсь, и в любой другой стране, и в самом деле трудно найти издателя, что говорит не об отсутствии "свободы слова", а о наличии художественного вкуса у наших редакторов и издателей. И это не беда, а благо! Отсутствие такого вкуса и требовательности, снижение этических и эстетических критериев ведут к разрушению литературы как художественной ценности, к полной моральной и эстетической вседозволенности и бездуховности.

Наша литература — проза, поэзия, драматургия — наполнена напряженнейшими духовными исканиями, отмечена бережным и строгим отношением к художественному слову — об этом, кстати, свидетельствуют переводы на русский язык ваших книг.

Еще на прошлогодней литературной встрече советских и американских писателей в Нью-Йорке, где все вы присутствовали, мы установили одну из реальных и больших проблем во взаимоотношениях между нашими литературами: мы вас прекрасно знаем, потому что очень широко переводим. Только в 1977—1978 годах в СССР было переведено 156 книг американских писателей (не считая периодики!) тиражом 21,5 миллиона экземпляров. И для многих американских писателей Москва была во многом своего рода литературной Меккой на пути к славе и международному признанию. В вашей стране, к сожалению, нашу современную литературу почти не знают, потому что переводы советских авторов крайне редки, а судят о ней нередко, как и о ситуации с "Метрополем", с чужих слов.

Теперь о "репрессиях" и "преследованиях". О чем идет речь? Может быть, о недавней поездке А. Вознесенского в Соединенные Штаты Америки для выступления в Центре Кеннеди и его полете по просьбе центральных газет на Северный полюс, после которых были в периодике напечатаны циклы его стихов? Или о только что вышедших книгах Беллы Ахмадулиной в Тбилиси или Фазиля Искандера в Москве? Или о публикации рассказа Аркадия Арканова в последнем августовском номере "Юности"? Или о поэтических вечерах в Москве и выступлениях А. Вознесенского и Б. Ахмадулиной по Центральному телевидению перед многомиллионной аудиторией? Или о книге прозы А. Битова, только что полученной от автора издательством "Советский писатель"?

Хочу, дорогие коллеги, уверить вас: мы ничуть не меньше кого-либо другого беспокоимся за творческую судьбу наших писателей и меньше всего хотим, чтобы прервалась их, как пишете вы, писательская "карьеря" в нашем творческом союзе, в советской литературе.

Союз писателей СССР — организация добровольная, и находится в нем — добрая воля коллектива, с одной стороны, добрая воля каждого — с другой. Держать насильно в нем мы никого не собираемся.

Но мы верим, что те глубокие и органические связи, которые связывают подлинных писателей с родной литературой и родной землей, неразрывны.

Эти надежды распространяются и на начинающих литераторов В. Ерофеева и Е. Попова. Секретариат правления Союза писателей РСФСР, как вы правильно заметили, "приостановил" окончательное решение о приеме их в Союз писателей СССР. Но, простите, прием в Союз писателей — это уж настолько внутреннее дело нашего творческого союза, что мы просим дать нам возможность самим определять степень зрелости и творческого потенциала каждого писателя.

Таковы мои разъяснения и наш взгляд, уважаемые господа, на затронутую вами проблему.

Еще раз примите мое искреннее уважение.

*/"Литературная газета",  
19 сентября 1979 года/*

Семен ЛИПКИН

## ОБРАЗ И ДАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

### ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

*Секретарям союза писателей СССР  
Секретарям союза писателей РСФСР  
Секретарям московской писательской организации  
Членам редакционной коллегии "Литературной газеты"  
Членам редакционной коллегии "Литературной России"  
Членам редакционной коллегии "Московского литератора".*

Глубокоуважаемые товарищи!

Видные писатели и сотрудники аппарата, выполняя порученное им задание, проводили со мной долгие беседы об альманахе "Метрополь". Я не мог им ответить с достаточной обстоятельностью, так как, не будучи составителем "Метрополя", был знаком только с некоторыми работами альманаха. Из "Московского литератора" я сперва узнал, что произведения четырех писателей, мои в том числе, служат фиговыми листками, прикрывающими литературный срам, а затем та же газета опубликовала подборку отрицательных об альманахе отзывов почти тридцати членов Союза писателей. Работая в советской литературе пятьдесят лет, я, конечно, научился разбираться в механизме такого рода подборок, но меня сму-

щало то, что среди осудителей было несколько людей одаренных. Мое смущение усугублялось тем, что не все участники альманаха были мне близки, как художники. Во мне поселилась тревога.

Но вот последовали дни и недели, в течение которых кое-кто из осудителей стал заявлять знакомым и составителям устно, а один письменно, что их отзывы газетой искажены, что не нравятся отдельные произведения, а в целом альманах хороший или даже очень хороший. Наконец, я прочел весь альманах и, положив руку на сердце, могу теперь сказать: альманах действительно очень хороший.

Может быть, мне, как участнику альманаха, или, хуже того, как рядовому члену союза писателей, не пристало высказывать свои суждения руководителям союза, но, отвечу я, во-первых, мои настойчивые собеседники требовали от меня, чтобы я высказался, а во-вторых, некоторую надежду придает мне то, что к моему мнению, не всегда с ним соглашаясь, прислушались Мандельштам и Ахматова, Василий Гроссман и Платонов. А вдруг прислушаетесь и вы?

В альманахе есть то, что Шекспир называл "образом и давлением времени". Огромное художественное наслаждение доставили мне рассказы молодого писателя Евгения Попова, который вошел в литературу, напутствуемый Василием Шукшиным. Ткань этих сибирских рассказов насыщена прочными, яркими красками, из слов рождаются не заводные куклы, а люди, тепловая энергия жизни. В отличие от несравненного Зощенко, который своих героев не любил (Попов, как и Зощенко, продолжает линию сказа), молодой писатель любит своих незадачливых героев, а известно, что искусство возникает тогда, когда сочувствие к людям сочетается с артистизмом чувства.

Мне думается, что Фридрих Горенштейн\* (имя мне доселе незнакомое) — серьезный писатель. Его Юрий Дмитриевич,

---

\*Отрывок из повести Фридриха Горенштейна "Искушение" был опубликован в 42-ом номере журнала "Время и мы".

Зина, слепорожденный Аким Борисыч, считающий себя выше и счастливей ослепших, — это характеры "капитальные", как любил выражаться Достоевский, характеры, обнаруженные автором "Ступеней". Учительский дух нашей отечественной литературы стал источником ее бессмертия, и Фридрих Горенштейн мучительно-страстно развивает проповедническую сущность русской художественной мысли.

Тридцатилетний Виктор Ерофеев обратил на себя мое внимание исследованиями, посвященными необычной личности де Сада, трудам Льва Шестова. В "Метрополе" опубликованы три его рассказа. Первые два я не отнес бы к его удачам, но третий рассказ, "Трехглавое детище", принадлежит к лучшим произведениям альманаха. Мастерски нарисованы престижный дачный поселок, сотрудники и коридоры института, страшная гибель Наденьки и не менее страшная гибель души Игоря. Вяземский как-то сказал о Василии Львовиче, о дяде Пушкина, что этот пожилой поэт годится отроку Александру в племянники. Я знаю иных литературных дядей, которые годятся в племянники Виктору Ерофееву.

Евгения Попова и Виктора Ерофеева исключили из союза писателей, прибегнув к маскировочной формулировке, — мол, приняли их раньше неправильно, книг у них нет, одни журнальные публикации. Но разве устав союза не растолковывает ясно, что в союз принимаются писатели и на основании журнальных публикаций? У нас часто ссылаются на горьковские традиции в работе союза писателей. Меня в союз приняла комиссия, возглавленная Горьким, когда число моих лет равнялось двадцати двум, а число моих стихотворений, опубликованных в журналах, не достигало и этой цифры, ни одной книги я не успел выпустить. В то же время в приеме в союз было отказано почтенному писателю, издавшему собрание сочинений. Традиция существует тогда, когда ей следуют, а не тогда, когда ее декларируют.

Конечно, сподручнее руководить пишущими, похожими друг на друга, как узоры на обоях. Но союз писателей по самому своему замыслу должен быть союзом неповторимых.

Наш трудный, долгий опыт показал и доказал, что исключение из союза не есть исключение из русской литературы. Один из осудителей альманаха подкрепляет свои инвективы цитатой из Пастернака, а сам, небось, голосовал за исключение великого поэта из союза. Поговаривают, что изгнание двух молодых писателей из нашей среды есть инициатива главы московских литераторов Феликса Кузнецова. Я с ним не знаком, но когда я обдумываю его речи и действия, у меня складывается впечатление, что человек он малосильный, растерявшийся, который хочет казаться волевым и жестоким. Что же, казаться жестоким легче, чем быть рассудительным.

Я хорошо понимаю, что руководить творческой организацией не просто, работы невпроворот, мероприятие набегает на мероприятие, и все же нельзя при этом ни на миг забывать о том, что нам досталась в наследство могучая литература, что у каждого из нас так мало вероятных возможностей в ней остаться, и поэтому вряд ли разумно отсекал надежные молодые таланты. На тех авторов "Метрополя", которые постарше, укоренились попрочнее, обрушился обвал экономических санкций, у всех (за одним-двумя, кажется, исключениями, впрочем, легко объяснимыми) задержаны набранные или сданные в типографии книги, рассказы, стихи, переводы, пьесы, принятые театрами, осуществленные киносценарии, а двух молодых, менее защищенных, выгоняют вдобавок из союза, хотя тот же Феликс Кузнецов провозгласил *urbi et orbi*<sup>\*</sup>, что никто не будет подвергнут репрессиям. Совесть не позволит мне оставаться в союзе и пользоваться его благами, если вы в ближайшее время не исправите свою ошибку и не восстановите в союзе двух, не по уставу исключенных.

Полагаю, что я должен сказать несколько слов о тех, кто в литературе постарше.

Загадочная вещь — манера письма. Ничто так не привлекает современников, как новая, острая манера письма, и ничто не

<sup>\*</sup>*Urbi et orbi* (лат.) Городу и миру, т.е. во всеуслышание, к общему сведению.

устаревает так быстро, как манера письма, существующая вне содержания. Я слышал от собратьев по перу, что манера письма Беллы Ахмадулиной мешает им при чтении ее рассказа "Много собак и собака". Но если преодолеешь эту преграду, то почувствуешь в прозе знаменитой поэтессы истинную боль, боль, без которой не рождается искусство. Вот и прочтен рассказ, заканчивающийся вопросительным знаком, и нашу мысль продолжают волновать и Шелапутов — новый, бесприютный Сван, и фантомная фигура безукоризненного Пыркина, "человека никакого, опасного человека".

"Похороны доктора" Андрея Битова — вещь, которой суждена долгая жизнь. Портрет женщины-врача рисуется на наших глазах в день ее смерти, но в этом, как будто бегло нарисованном портрете — вся ее жизнь, ее прошлое, ее близкие. Многие строки рассказа хочется прочесть вслух, как стихи.

Влиятельное лицо — Римма Казакова, — утверждая приверженность к целомудренной любви, обвиняет альманах в сексопатологии. Возможно, ее задело название рассказа Фазиля Искандера "Маленький гигант большого секса", рассказа очень смешного и очень грустного. Что касается секса, то он есть только в ироническом названии. Фотограф Марат охотно хвастается своими гигантскими похождениями. Делает он это довольно ловко, так что читателю приходится самому решать, — фантазирует Марат или говорит правду. Но когда уличный курортный фотограф рассказывает о своей встрече с одной из наложниц Лаврентия Берия, — ни ему, ни нам уже не до шуток. Фазиль Искандер — один из самых популярных советских писателей, и какое счастье, что его популярность сопрягается с тонким, благородным вкусом, с многосодержательностью. Русские читатели с гоголевских или, пожалуй, с фонвизинских времен привыкли к смеху сквозь невидимые миру слезы. Природа смеха Искандера несколько иная. Это смех кавказцев, победоносный смех людей, которые работают весело, а веселятся торжественно, живут трудно, а умирают легко.

Когда появился "Звездный билет" Василия Аксенова, Анна Андреевна Ахматова мне сказала: "Талантливо! Это заговорило новое поколение, — уже не дети, даже не внуки, а правнуки". И радостно добавила: "Половину слов я не понимаю". А Ахматова редко кого хвалила, она принимала далеко не всех литературных ровесников Аксенова.

Как же могло случиться, что один из известнейших писателей, автор таких шедевров, как "На полпути к луне" или "Дикой", не мог на протяжении одиннадцати лет пристроить "Четыре темперамента", пьесу с точки зрения цензуры безобидную? Произведение экспериментальное, оно не всем нравится, но оно есть, и легко предположить, что без этой пьесы личность Аксенова не может существовать, как не существует в нашем сознании Леонид Андреев, автор реалистических "Жили-были" или "Дни нашей жизни", без "Жизни человека".

Поразмыслим об этом.

"Московский литератор" опубликовал заявление Сергея Михалкова, касающееся меня: "Мне не понятна позиция С. Липкина. Представители национальных литератур, эпос которых он перевел и которые еще не вышли из печати (неграмотность фразы, уверен, принадлежит редакции, Михалков отлично владеет русским языком), задумываются над тем, а не следует ли им обождать, пока найдется другой Липкин!"

Действительно, в моей переводческой работе меня больше всего привлекало воссоздание памятников эпической поэзии — "Шах-Намэ" Фирдоуси, поэм Навои и Джами, эпоса калмыков — "Джангар", киргизов — "Манас", бурят — "Гэсэр", татар — "Идегей" (вещь, которую не могу опубликовать), кавказских "Нартов", пространных эпизодов индийской "Махабхараты". Я благодарен судьбе за то, что эта работа привела меня к изучению истории, быта, языков народов Востока, открыла мне философские прозрения мусульманства, буддизма, индуизма. Я благодарен судьбе за то, что во время

войны, в рядах 110-ой кавалерийской дивизии, я делил с воинами-калмыками опасность боев и тяжкую горечь нашего временного отступления. Когда в годы сталинского геноцида решили ликвидировать как нации калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, крымских татар, я с ума сходил от невыносимой боли, я плакал по ночам, вспоминая высланных друзей. Эта боль мучает меня и поныне. Трагедии калмыков и чеченцев я посвятил страницы своих поэм, которые до сих пор не напечатаны, хотя я их не раз предлагал различным редакциям. Мы помним, как сталинские литературоведы и историки указывали народам: пусть они вычеркнут из памяти, втопчут в прах свое национальное достояние — эпические поэмы. К счастью, из этого ничего не вышло. Подумал ли любимец советской детворы, что он невольно продолжает бессмысленное дело варваров, указывая "представителям национальных литератур", как поступить — теперь уже не с подлинником, а с переводом. Задумался ли Михалков над тем, что в наших республиках есть образованные, умные, честные ученые и писатели, которые в указах и подсказках не нуждаются. Да и с чисто литературной точки зрения филиппика Михалкова бессмысленна. Можно назначить председателя союза писателей, но нельзя назначить писателя, назначить поэта-переводчика. Будут другие переводы восточных эпических поэм, они будут лучше, чем мои, но моих они не заменят — точно так же, как юмор нового детского поэта не заменит михалковского юмора.

\* \* \*

Друзья меня спрашивают — жалею ли я о том, что из-за участия в альманахе "Метрополь" я оказался на старости лет в трудном положении. Да, жалею, жалею о том, что представлен в "Метрополе" весьма небольшим количеством стихотворений.

Анатоль Франс рассказал о набожном акробате, который служил Богородице с помощью фокусов: иначе он не умел ей служить. Авторы альманаха — писатели, очень разные по манере письма, по кругу тем, по пониманию основ художественно-

сти. Но их сближает /если мне будет позволено применить к делам нашего цеха столь высокий термин/, — экуменическое начало. Все авторы хотят, каждый по-своему, служить Богу, чье имя — Правда, и не хотят служить дьяволу, чье имя — Ложь.

*Письмо публикуется с небольшими сокращениями.*

Е. ЭТКИНД

## ЛИТЕРАТУРНАЯ "НРАВСТВЕННОСТЬ" Ф. КУЗНЕЦОВА

### ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ФЕЛИКСУ КУЗНЕЦОВУ

Уважаемый Феликс Федосьевич, история с "Метрополем" приобретает такой масштаб и такой характер, что мы, державшиеся до сих пор в стороне, не можем не вмешаться и не сказать читателям нашего журнала, что мы думаем об этом альманахе и о разгоревшихся вокруг него баталиях. Лучше всего, как нам кажется, сделать это в испытанной литературной форме — в виде открытого письма.

Почему я пишу именно Вам, критику Феликсу Кузнецову?

Причин несколько:

— Вы как первый секретарь московской писательской организации приняли на себя удар и ответственность: Вам пришлось созывать собрание, предлагать решения, изобретать санкции;

— Вы оказались в печати глашатаем партийно-государственной стороны: ЦК и правительство выдали Вам доверенность на официальное ведение дела от их имени;

— Вы — критик, специалист по современной советской литературе и, что в данном случае особенно важно, по вопросам нравственности, — первая Ваша книга называлась "Литература и нравственное воспитание личности"/1962/, одна из последних — "Нравственные искания в современ-

ной прозе" /1975/, — так что Вы, можно сказать, своего рода проповедник. В данном же случае речь идет именно о нравственности — ни о чем другом. Значит, Вы — в своей стихии.

Я начал со слова "масштаб". Я настаиваю на этом. Дело "Метрополя" — важнейшее в истории советской литературы последнего времени. Думаю, что со стороны не всегда ясно; наши западные собраты имеют основание пожимать плечами и выражать скепсис. Я слышал такие недоуменные вопросы:

— Читал я ваш "Метрополь", о чем шум? Ни одного слова, ни одного намека — антисоветского или даже просто политического. Никакой полемики со властью имущими. Ничего скандального, ну ровно ничего.

В самом деле, Феликс Федосьевич, о чем шум?

Этот вопрос задаете Вы заглавием Вашей статьи, его же задают простодушные читатели на Западе, привыкшие к другим меркам. Они понимают, почему власти в Советском Союзе бешутся, читая "Архипелаг ГУЛАГ" или слушая песни А. Галича, но эти невиннейшие тексты, составляющие "Метрополь" — почему?

Да этот же вопрос задаете и Вы, руководитель московских писателей. Однако лучше Вас никто на этот вопрос не ответил — сознаете ли Вы это?

Прежде всего, есть в истории "Метрополя" аспект чисто правовой, — юридический и, одновременно, нравственный. Ваше негодование вызвано тем, что группа писателей опубликовала сборник своих произведений за границей "с тайной, неофициальной, в обход советских законов, передачей оригинала рукописи издателю", "минуя ВААП"... Или, как говорится в редакционном предисловии "Литературной газеты", — сборник был "...заранее, заблаговременно, нелегальными путями переправлен Профферу". Нелегальными? Что это значит? Какие пути пересылки любой рукописи, не содержащей государственных тайн или вообще шпионских сведений, могут в наше время считаться нелегальными? Минюта, что ли, таможеню?

Тайно... Нелегально...

Претензия странная, хотя и хорошо известная нам еще по делу Пастернака, ошеломившему Запад 20 лет назад.

Что же Вы хотите сказать эпитетом — "тайная" передача? Право, в каком смысле— тайная? Не объявленная в газетах, в заявлениях на имя Ф. Кузнецова или ВААП? Но ведь рукопись рассказа, или стихотворения, или статьи, или даже романа является личной собственностью автора — точно так же, как мысли этого автора. Разве не имеет права автор — как и всякий гражданин — послать в письме, или бандеролью, или посылкой, или багажом — любое свое сочинение тому адресату, кому он сочтет нужным? При чем здесь государство или даже Союз писателей? Вот, например, Вы, Феликс Федосеевич, Вы написали свою статью под странным заглавием "О чем шум?.." и, как Вы сообщаете, послали ее 22 августа и пяти американским писателям, выступившим со своим мнением о репрессиях в Союзе писателей СССР, и в газету "Нью-Йорк таймс". Эту свою статью Вы послали как — тайно или не тайно? Ее обсуждали на заседании партбюро, я в этом не сомневаюсь, и почтовые расходы оплачивал Союз писателей. Но ведь и вопрос о посылке "Метрополя" почтой тоже, наверно, обсуждался на собрании авторов. Партбюро имеет право разрешить, собрание авторов не имеет такого права, — Вы это хотите сказать? Но ведь авторы принимали решение насчет принадлежащих им, только и исключительно им, рукописей. Военных или государственных тайн они Карлу Профферу не сообщали. Так что это значит — тайно? Может быть, Вы хотите сказать, что рукопись альманаха была послана не той официальной почтой, которую перлюстрируют при пересылке? Или что авторы не обладают собственностью на свои рукописи? Это последнее предположение особенно страшно. Рукопись — это мысли, материализовавшиеся в письменной речи. Можно ли представить себе запрещение собственности на мысль, на речь, на рукопись — рукопись дневника, лирического стихотворения, интимного письма, даже просто письма, даже открытого письма? Представить себе это можно — мы так живем десятилетиями, к нам в любую ночь могли ворваться полицейские агенты, выкрасть наши дневники и на основании этих, в одном экземпляре хранящихся, "материализованных мыслей", осудить каждого из нас на лагерный срок или на смертную казнь.

Представить себе это можно. Но — сегодня, в 1979 году, когда, казалось бы, многое изменилось, сегодня повторять то, что Вы по инерции твердили еще в 1958, выгоняя из Союза писателей Бориса Пастернака... Не срам ли это? Не абсурд ли? И пишете-то про это Вы, Феликс Кузнецов, специалист по нравственности! А ведь Вы хорошо начинали в 1962 году. Вы нам казались тогда, в пору оттепели, человеком с совестью и моральной ответственностью. Горько вот что: Вы так привыкли к полицейским порядкам, что Вам даже в голову не приходит воздержаться от обычных "советских" доводов; так прямо Вы и пишете, — "нелегально", "тайно". Иначе говоря, Вы с полной несомненностью убеждены в существовании цензуры и в ее естественности, необходимости, разумности. Вдумайтесь, куда Вы зашли — в какие дебри абсурда.

Так вот. "В свете нравственности" нет никаких сомнений, что рукопись, как и мысль, является личной собственностью автора, и что передача ее кому бы то ни было не может быть порицаема, если только в ней нет государственных тайн. В свое время, столетие назад, Эмиль Золя опубликовал в русском журнале "Вестник Европы" более шестнадцати статей — эти "Парижские письма" печатались в течение шести лет. Это, что же, было все переслано "тайно"? А знаете, Феликс Федосеевич, никто "Парижских писем" Золя не просматривал, никто их публикации за границей не утверждал, и писем Золя власти Третьей республики не перлюстрировали. И Вы хотите, чтобы на демократическом Западе, где уже сто лет назад была свобода мысли и печати, Вас поняли? И чтобы американские авторы, которых Вы поучаете на свой лад литературной "нравственности", Вам сочувствовали?

Вы обвиняете американских писателей во лжи, когда они видят в действиях Союза писателей "всеобъемлющий страх перед свободой слова и решимость со стороны официальных властей задушить ее". Вы восклицаете: "Неправда! ...Не официальных властей", а писателей". Я был членом Союза писателей двадцать лет, и я знаю, как это делается. Положа руку на сердце — сколько раз Вас, Ф. Кузнецова, вызывали в ЦК? Сколько часов длилось там совещание, посвященное "Метро-

полю"? Чем Вам пригрозили в случае, если Вы не мобилизуете общественное мнение московских писателей? А потом Вы — что посулили Вы тем тридцати писателям, которые высказались в пользу ЦК? Впрочем, я допускаю, что многие из них вполне честно ругали альманах, — едва ли ряд прозаических вещей, в нем опубликованных, могли понравиться С. Залыгину или Г. Бакланову. Ну, и что? Одним писателям понравилось, другим нет. Отсюда еще далеко до "оргвыводов", которые делали Вы по указке ЦК, и до обвинений, которые выдвигаете Вы. К тому же, из письма Семена Липкина, публикуемого выше, — и не только из его письма, — мы знаем, что некоторые из этих тридцати были Вами обмануты, их высказывания извращены, сами они — оболганы. Погодите еще, скоро появится не одно открытое письмо — о мошенничестве в Союзе Писателей и о подделках в газете "Московский литератор". Но вернемся к фразе американских писателей. Конечно же, они правы, и сформулирована их мысль отчетливо и полно.

Вы делаете вид, будто и Вы, и все вокруг Вас только и пекутся, что о художественном уровне литературы. Кому Вы это рассказываете? Вы думаете, что имеете дело с малограмотными людьми, не способными отличить Вадима Кожевникова от Достоевского, а Сартакова от Льва Толстого? Стоит ли далеко ходить? Ваша статья напечатана в Литературной газете на странице 9, а рядом, на 7, под рубрикой "Поэзия, проза" — стихи, среди них "Портрет на Каме" /да, да, не на камне, а на Каме/ некоего Николая Зиновьева; этот портрет начинается так:

**Не пойму, куда мне деться! —  
У реки, как дивный дар,  
Ты в траве сидишь с младенцем,  
Лена Лишина, маляр.  
...Жизнь, как ты золотоброва.  
Как поймать всю звуковьсь  
Я пишу твой облик словом,  
Краски подбирает мысль!..**

Полно, не нарочно ли мне "ЛГ" подсунула такой пример. Не вышло ли ошибки? Может быть, это стихотворение предназначалось для 16 полосы, и случайно заверстано на 7? Не Евгений ли Сазонов полагает, что "дивному дару" свойственно сидеть "в траве с младенцем"? И пользоваться такой пародийной лексикой, как "звуковьсь", которую никак не "поймать"?

Послушайте, вот эту издевку над вкусом и русским языком Вы допускаете и одобряете, а "Метрополь" для Вас — "порнография духа"? А разве не порнография — духа, слова, образа — эта сентиментальная подделка под четырехстопный хорей?

**Как сама душа рассвета  
над толпою облаков,  
ты сидишь полураздета  
в чистом нимбе васильков...**

Печатающая такую макулатуру миллионным тиражом "Литературной газеты", Вы еще позволяете себе тут же рядом, на соседней странице, лицемерно ратовать за литературные качества.

А ведь в альманахе "Метрополь" виршеплетов, подобных Николаю Зиновьеву, не найдешь. Русская поэзия наших дней здесь представлена достойно — такого уровня давно я не видал. Здесь, прежде всего, мудрый и трагичный Семен Липкин, известный у нас как виртуозный переводчик народно-героических эпосов и почти неизвестный как поэт. Возможно ли? С. Липкину скоро семьдесят, о нем еще лет пятнадцать назад неумолимо строга Анна Ахматова отзывалась, как об одном из первых русских поэтов современности, а мы, читатели, что мы знаем о нем? И вот в "Метрополе" он, наконец, появился перед нами — нет, далеко не в полный рост, это еще только первая проба знакомства с поэтом, который способен за нас всех сказать:

**Век сумасшедший мне сопутствовал,  
Подняв свирепое дреколье,  
И в детстве я уже предчувствовал  
Свое мятежное безволье...**

**...И если приходил в отчаянье  
От всепобедного развала,  
Я радость находил в раскаяньи,  
И силу слабость мне давала.**

Да если бы в "Метрополе" было только это стихотворение, звучащее с мандельштамовской мощью, так и тогда альманах был бы оправдан. А ведь в нем есть еще несколько страниц стихов Семена Липкина — таких, как "Фантастика", "Хаим", "В Пустыне", стихов навсегда. Карл Проффер может быть спокоен: в комментариях к академическому изданию С. Липкина читатели будущего прочтут: "Опубл. впервые в альм. "Метрополь", Анн-Арбор, 1979". Они удивятся — почему так далеко? Но там же в комментариях будет цитата из Ф. Кузнецова о "недоброкачественных сочинениях, собранных в "Метрополе".

Не только С. Липкин появляется здесь впервые. То же можно сказать и о Евгении Рейне, поэте пронзительном, едко-ироническом, способным и на горькую прозу в стихах /"На Каннском фестивале Сережа Васюков Стоит на пьедестале Из премий и венков... Игруют в детской дети, Чья чужеродна кровь. А Таллин на рассвете, Как первая любовь..."/, и на исступленную лирику:

**Помню, как стало легко без мотовки,  
Лгуны, притворщицы, неженки, шлюхи,  
Преобразившей Васильевский остров  
В берег свиданий и гавань разлуки...**

Вы это тоже считаете "недоброкачественными сочинениями", Феликс Феодосьевич?

В "Метрополе" большая подборка из Евгения Рейна — стихи разных лет, за двадцатилетие с 1959 по 1978. До сих пор — кто их читал, кроме друзей? Двадцать лет пишет стихи Евг. Рейн. И ведь не политические сатиры, и не порнографические соблазны, и не верлибры даже; Е. Рейн целомудренно сдержан по содержанию и классичен по свойственной ему строфике. Почему его до сих пор не печатали? Бог весть. Вольнодумец, что ли? Абстрактный гуманист? Или просто потому, что

Иосиф Бродский Посвятил ему одно из своих известных стихотворений? Как бы то ни было, и за Евгения Рейна "Метрополю" спасибо. И за трепетно-человечные стихи Инны Лиснянской. И за виртуозные сонеты, дистихи и сатиры Генриха Сапгира, ну и, конечно, за широко известные, но впервые опубликованные блистательные "Стихи и песни" Владимира Высоцкого. А еще я даже не назвал Андрея Вознесенского, Юрия Кублановского, Юза Алешковского; все это интересно, ярко, ново.

Как же Вы, критик Феликс Кузнецов, все это проглядели?

Проза, конечно, разная. Но перед советским читателем мог — почти что впервые! — появиться такой зрелый писатель, как Фридрих Горенштейн с отличным рассказом "Ступени" /пятнадцать лет пишет в стол.../, или такой, как Борис Вахтин /прекрасный, в СССР почти неизвестный прозаик, давно завоевавший множество почитателей, — и вовсе не политическим инакомыслием, а искусством пера/, или Евгений Попов и Виктор Ерофеев /появляющиеся, в сущности, впервые, — их рассказы могут за себя постоять/.

Но все они не появятся, их издали в далеком Мичигане, потому что все это, как Вы уверяете, Феликс Федосеевич, "недоброкачественные сочинения".

Так Вы и войдете в историю русской литературы. Надеюсь, Вы достаточно трезво мыслящий литератор, чтобы понимать, что в энциклопедию XXI века Вы не попадете как автор комического исследования с удивительным названием: "Ленин о проблемах нравственности" /Москва, 1974/. Если в этой будущей энциклопедии Вам придется фигурировать, то там будет, вероятно, сказано: "Кузнецов Ф.Ф., 1931 — , был членом КПСС с 1958 года, окончил факультет журналистики в 1953 г.; в конце семидесятых годов отличился как один из душителей русской литературы — например, воспрепятствовал появлению в печати альманаха "Метрополь" /см./; способствовал изгнанию из Союза писателей одних авторов и

и травли других. Содействовал тому, что от Советского Союза отвернулись такие друзья русской литературы, как знаменитые американские писатели Э. Олби, А. Миллер, У. Стайрон, Дж. Апдайк, К. Воннегут".

**ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
НА ЕДИНСТВЕННУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ  
ГАЗЕТУ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ  
НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО  
под редакцией АНДРЕЯ СЕДЫХ  
69 г о д издания**

Подписная цена на 1 год 70 долларов  
Воскресное издание только 35 долларов

Воздушной почтой ежедневное и воскресное  
издание 180 долларов.

**Чеки выписывать на имя:  
"NOVOYE RUSSKOYE SLOVO"  
и направлять по адресу:  
243 WEST 56 STREET  
NEW YORK, N. Y. 10019, USA**

*В Новом Русском Слове сотрудничают  
лучшие литературные силы эмиграции.  
Газета имеет собственных корреспондентов  
в Иерусалиме и Тель-Авиве.*



## «ЦДЛ» Лев ХАЛИФ

**ИЗВЕСТНАЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ГЛАВАМ В  
САМИЗДАТЕ КНИГА ЛЬВА ХАЛИФА ЦДЛ  
ПУБЛИКУЕТСЯ В ПЕРВЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТ-  
ВОМ "АЛЬМАНАХ".**

**ЛЕВ ХАЛИФ** — автор широко известных в СССР стихотворных книг "Мета" "Стиходром". Бывший член Союза Писателей СССР. В 1974 году исключен Союзом за произведения, распространяемые в Самиздате. Подвергался преследованиям. В 1977 году вынужден был эмигрировать на Запад. Ныне живет в Нью-Йорке. На Западе печатался в "Континенте", "Посеве", "Русской мысли", "Новорусском слове", "Россия христианом", "Иль Джорно", "Иль Темпо", "Боргеz" "Сетимонале", "Авенире", "Экспрессе", "Эхо" и других изданиях.

ЦДЛ-книга о нравах и жизни писателей в СССР, их взаимоотношениях между собой и с руководящей элитой, о крушении и гибели многих талантливых писателей и незаслуженном признании бездарности и посредственности.

Автор ничего не выдумывает, он пишет о том, что видел и знает. Десятки известных и неизвестных имен предстанут перед читателем в их неповторимой человеческой красоте или омерзительной тупости и бездарности.

Читатель, интересующийся литературной жизнью послевоенной России, найдет в этой книге много интересного и ранее неизвестного. Автор откровенно показывает свое отношение к описываемым событиям. С мнением автора можно соглашаться и не соглашаться, но равнодушным к произведению оставаться невозможно.

Цена книги 7 дол.80 центов

В стоимость включена пересылка в пределах США и Канады. Для пересылки книги в другие страны к заказу следует добавлять 1 дол.

КНИГА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ "АЛЬМАНАХ" исключительно по ПОДПИСКЕ

СРОК ВЫХОДА КНИГИ 3-й квартал 1979 года

ALMANAC-Press, P.O.Box 480264

Заказы просим направлять: **Los Angeles, California 90048**

Настоящий купон дает право на скидку 1 доллар за экз.

ИЗДАТЕЛЬСТВУ "АЛЬМАНАХ"

Прошу выслать мне книгу Л.Халиф "ЦДЛ" в \_\_\_\_\_ экзempl.  
ЧЕК или МОНИ-ОРДЕР на сумму \_\_\_\_\_ прилагаю.

ФАМИЛИЯ **З А К А З Ч И К А**

АДРЕС \_\_\_\_\_

Р. ЛЕРТ

## ПОЗДНИЙ ОПЫТ

Да, очень поздний. К счастью? К сожалению?

Прожить семьдесят три года, пройти — ребенком — через бури гражданской войны, через тринадцать раз сменявшиеся в моем родном Киеве власти, через немецкую оккупацию 1918 года, через деникинский погром, через бесчинства петлюровцев, через короткое комсомольское подполье во время захвата Киева белополяками... Потом, в юности и зрелости, пережить преследование и разгром внутривластных оппозиций, пережить массовый террор 1935—1939 годов, когда я потеряла стольких близких, пережить бурный взлет антисемитизма 40—50-х годов, уже приближавшийся — вот-вот! — к своей кульминации... Пережить все это — и все, что было потом /постепенное освобождение собственной мысли: сначала "оттепель" и связанные с нею иллюзии, потом "Новый мир" Твардовского, дело Синявского-Даниэля, чтение Самиздата, оккупация Чехословакии/... И, наконец, собственные статьи, впервые написанные без "внутреннего редактора"...

Это все схема, пунктир. Но все это прожито, продумано, прочувствовано.

...А вот обыска у меня до сих пор не было. До семидесяти трех лет. До 25 января 1979 года. И даже не случилось мне ни разу попадать к моим друзьям, когда у них "шмонали". Рассказов слышала много, читала и того больше, но — должна признаться — ничто не заменяет личного опыта. Прав был Гете: "Теория сера по сравнению с вечнозеленым деревом жизни..."

И как бы для того, чтобы перед концом моего жизненного пути дать мне подтверждение этого философско-поэтического тезиса, в моей передней прозвенел звонок.

### ОБЫСК

...Я накинула халатик и пошла открывать. Была не ночь и не утро — примерно половина второго дня. Но я лежала в постели: меня знобило, я задыхалась. Одолевал очередной сердечный приступ. Ждала медсестру из поликлиники: она примерно в это время приходила делать мне укол.

Открыла дверь. Моя крохотная /полтора метра на полтора/ передняя мгновенно заполняется людьми. Входят четверо: женщина и мужчина постарше и двое совсем юных — парень и девушка студенческого типа.

Я еще ничего не понимаю.

— Товарищи, — говорю я, запахивая халатик, — вы ко мне? Поговорить? Может быть, отложим разговор? Я очень плохо себя чувствую...

— Нет, нет, — возражает женщина постарше, — мы вам сейчас все объясним.

И, запирая дверь, /вот тут меня что-то кольнуло/, объявляет:

— Обыск!

От входной двери до моей тахты — четыре шага. Я поворачиваюсь, иду в комнату, сажусь на постель и говорю:

— Предъявите ордер!

Женщина протягивает ордер и одновременно каким-то чуть даже щеголеватым, вызывающим движением раскрывает пе-

редо мной свое служебное удостоверение: "Старший следователь Мосгорпрокуратуры Корнакова". Корнакова, Корнакова?.. Почему такая знакомая фамилия? Ах да, первый советский цветной фильм назывался "Груня Корнакова". Неуместная эта ассоциация мелькает в мозгу, пока я отвечаю, что у меня нет "заведомо ложных, клеветнических материалов", которые мне предлагается добровольно выдать.

Ритуал закончен. Я снова ложусь под одеяло, они приступают к делу. Перед этим мужчина постарше изысканно-вежливо спрашивает:

— Разрешите раздеться?

— Я здесь сегодня ничего ни разрешать, ни запрещать не могу.

Снимают пальто. Попутно осведомляются:

— Вы больны, Раиса Борисовна?

— Как видите.

— К вам должен прийти врач?

— Нет, только медсестра.

Корнакова проходит к письменному столу, расчищает себе место и раскладывает письменные принадлежности. /Все пять часов она занималась исключительно канцелярской, секретарской деятельностью/. Мужчина постарше /он так и остался безымянным/ проходит к бельевому комоду и начинает в нем рыться. Двое юных /как я поняла, привезенные с собой "понятые" — какие-то ихние кагебешные студенты или курсанты/ остаются посреди комнаты в статуарных позах. Парень за все пять часов не произнес ни слова; девица же — видимо, отличница — как будет видно из дальнейшего, проявила гораздо больше активности.

...Звонок. Появляется пятый — тоже безымянный. Если бы он вошел вместе со всеми, я бы сразу догадалась. Какой-то явственный профессиональный отпечаток: холеная толстая морда, пустые глаза, неуловимое хамство в интонациях, хотя внешне все в нормах вежливости.

Толстомордый начинает "шмонать" на стоящих за дверью книжных полках, в ногах у моей постели. Читать не могу. Изредка отпиваю воду.

Девушке-"понятой" не сидится на месте. То ли и впрямь чуточку неловко /не привыкла еще?/, то ли просто молодая энергия не дает покоя.

— Раиса Борисовна, может быть, вам что-нибудь нужно?

— Благодарю вас, — отвечаю ледяным тоном. — Мне от вас ничего не нужно.

Молчание. Они "работают", принося все, что находят нужным "изъять", к письменному столу, где следовательница в поте лица трудится над составлением описи. Даже мне, неопытной, ясно, что ее роль тут ничтожна, что ордер Мосгорпрокуратуры — чистая "липа".

Телефон, стоящий у моей постели, обычно непрерывно трезвонящий, почему-то молчит. Странно, они его даже не отодвигают. Техника у них, что ли, такая, что позволяет отводить звонки?

Наконец, "толстомордый" нарушает молчание. На книжных полках он, кроме старых самиздатных произведений, обнаружил неизвестную толстую рукопись в двух папках. Не помню, как она называется — не читала. Что-то социологическое. Давно уже просили меня прочесть, а я все уклонялась: уж очень солидный "кирпич", а мне неохота тратить время: я — не специалист...

"Толстомордый" тоже не специалист в социологии, но в своем деле понимает: перелистав несколько страниц, что-то учуял.

— Диссертация?

— Возможно, — равнодушно отвечаю я.

— Ну, и где же эту диссертацию собирались защищать?

— Понятия не имею, — следует столь же равнодушный /и вполне правдивый/ ответ.

— Как она к вам попала?

— Мало ли как! Ко мне многие обращаются с просьбами — отрецензировать, отредактировать...

— И все это делается "за спасибо"?

— А вы не представляете себе, что можно что-нибудь делать "за спасибо"?

"Изысканно-любезный", покончив с моим бельевым комодом, дергает дверцу письменного стола.

— Раиса Борисовна, вы дадите нам ключи?

Дать? Не дать? Ну, допустим, не дам. Взломают.

Не меняя позы, говорю:

— В связке ключей на входной двери находится и ключ от письменного стола.

"Любезный" находит ключ, открывает дверцу и погружается в содержимое ящиков. Вот где главный улов! Три ящика набиты до отказа до того, что их трудно открывать. И все, что напечатано на машинке или написано от руки /а в моем литературном архиве все либо напечатано на машинке, либо написано от руки/, без разбора летит в прорву, к ногам следовательницы.

Не вставая, говорю:

— Среди этих папок есть одна, на которой написано: "Мои работы". Так вот, согласно авторскому праву...

— Да, — отвечает "любезный", перелистывая папку, — вот она, у меня в руках. Мы возьмем все, что найдем нужным... — И, продолжая листать: — А... скажите, Раиса Борисовна... ваши статьи, напечатанные в "Поисках", здесь есть?

Ах, вот что?!

— Все, что я написала, подписано моей фамилией. В остальном разбирайтесь сами.

...Молчание. Папки громоздятся на папки. Я хочу пить. Встаю, выхожу в кухню, возвращаюсь с чашкой воды. Девушка вскидывается:

— Ну зачем же вы, Раиса Борисовна? Я бы вам принесла... /Интересно, ей в самом деле в глубине души немножко стыдно? Или ее там где-то на ихних курсах обучают "политесу"? И объясняют, в каких случаях "политес" применять, а в каких нет?/.

Укладываюсь снова в постель. В это время "толстомордый", откопав на моих полках какие-то листочки, несет их следовательнице. По дороге бросает мне:

— Заверить надо!

— Что — заверить? — не понимаю я.

— Ваше завещание...

Тут я выхожу из состояния замороженности.

— Мое завещание?

Пораженный моим тоном, он невольно останавливается.

— Мое завещание, — поднимаю я голос, — это мой личный интимный документ. Его даже мои близкие могут прочитать только после моей смерти. Немедленно отдайте!

Он колеблется, "Любезный" делает ему какой-то неуловимый знак глазами /видно, он рангом повыше/, и "толстомордый" с неохотой отдает мне листочки. Однако не может удержаться от замечания.

— Обиделись на партию?..

— Послушайте, вы... — говорю я медленно и отдельно /девушка и юноша жадно слушают/. — Я в этой партии много больше лет, чем вы существуете на свете. И мои взаимоотношения с этой партией вашей ком-пе-тен-ции не под-ле-жат. Запомнили?

Все молчат. "Толстомордый" продолжает "шмонать" на полках, "любезный" продолжает очищать ящики. Следовательница усердно пишет.

...Звонок. К двери бросаются сразу "толстомордый" и девушка. На пороге — медсестра.

— Кто вы такая?

Медсестра удивлена и испугана. Она уже вторую неделю ходит делать мне внутривенные сердечные вливания и знает, что я живу одна. А тут — полна квартира людей.

— Я... из поликлиники, — робко говорит она.

Мне жаль ее. Ну, зачем ей все это? Она-то причем?

— Валя, — говорю я, — может, не будем сегодня делать укол? Пропустим?

Она ничего не понимает и инстинктивно боится, но природная доброта берет верх над страхом.

— Как это не будем? — энергично протестует она. — Вот вы какая бледная... И задыхаетесь! Обязательно будем.

— Пожалуйста, пожалуйста... Мы выйдем... — вмешивается "любезный".

Пока Валя, пробравшись между папками, отламывает головки ампул и готовит шприц, дверь беззвучно отворяется, и на цыпочках снова появляется девушка-отличница.

— Я постою у окна... Я отвернусь... Я не буду смотреть...

Сделав укол, Валя собирает чемоданчик и идет одеваться. Перед дверью вновь вырастает "толстомордый":

— Ваши документы!

— Послушайте, почему я должна предъявлять вам свои документы? — не выдерживает медсестра. — Кто вы такой? И что здесь вообще происходит?

— Обыск! — значительным тоном произносит "толстомордый".

— О-обыск?!

Она поворачивается ко мне /я лежу напротив открытой двери/. На лице ее — безграничное изумление. Конечно, она меня совсем не знает... Но уж больно непохожа эта худенькая старушка на преступницу... — О-обыск?!

Мне становится смешно. И опять — жаль ее.

— Не пугайтесь, Валя, я не уголовница.

"Любезный" снова делает неуловимый знак, "толстомордый" выпускает медсестру, и прерванная работа возобновляется. "Толстомордый" "шмонает" мой книжный шкаф. Не очень тщательно, видно, знают, что главная крамола в письменном столе и на полках. Вынул два-три тома Ленина, удостоверился, что за ними стоит Маркс — и дальше не стал смотреть. Зато в тонких книжках стихов /а их много/ рылся долго и усердно. Забрал машинописный сборник "Образ Анны Ахматовой" /большинство стихов, включенных в сборник, опубликовано в советских изданиях/. Забрал и первый том американского издания произведений самой Ахматовой, и небольшой сборничек прозы Цветаевой "Световой ливень", и "Охранную грамоту" Пастернака, и, конечно, первую книгу "Записок" Лидии Чуковской об Анне Ахматовой. Вообще, забрано все, что издано за границей.

..."Любезный" кончил опустошать мой письменный стол. Опустошать в точном смысле слова: в ящиках теперь просто нет ничего. Ничего, кроме нескольких поздравительных открыток и моей трудовой книжки.

Взгляд "любезного" падает на стоящий за письменным столом рюкзак.

— Это ваш рюкзак?

— Нет.

— Чей же?

— Одной моей приятельницы.

— Как фамилия этой приятельницы?

— Я не обязана сообщать вам фамилии моих друзей.

— Что в рюкзаке?

— У меня нет обыкновения обыскивать вещи моих друзей.

Они развязывают рюкзак и, кроме домашних вещей, находят в нем совсем неожиданный для себя "подарок". Моя неосторожная приятельница, /теперь можно назвать ее имя — Мальва Ланда/. вместе со своими, несомненно, интересующими моих "гостей" бумагами засунула туда же свое пенсионное удостоверение и сберегательную книжку. На книжке лежало сто рублей, и в нее была вложена пятирублевка. Пятирублевку мне торжественно вручают, бумаги "изымают", а заодно "приобщают к делу" и пенсионное удостоверение, и сберегательную книжку со сторублевым вкладом.

Кажется, все?

Нет, не все.

— Теперь мы, с вашего разрешения, посмотрим на кухне...

— Значит, "с моего разрешения"? А если я не разрешу?

— Тогда мы все равно посмотрим, — улыбается "любезный".

Они отправляются на кухню. Я не сопровождаю их — к чему? За ними пятью я все равно не услежу, и сил у меня нет стоять над ними. Да и нет ничего на кухне, кроме пишущей машинки.

Именно с машинкой они возвращаются в комнату.

— Вы хотите это забрать?

— Да.

— Зачем? Ведь для того, чтобы определить, печатались ли на ней "заведомо ложные, клеветнические..." и так далее, достаточно снять образец шрифта?

— Нет, — наставительным тоном отвечает "любезный", машинка останется у нас.

— До каких пор? — осведомляюсь я.

— До суда, — усмехаясь, выпаливает "толстомордый".

— Суда? — переспрашиваю я. — Над кем? Надо мной?

"Любезный", досадливо морщась, /то ли у них распределены роли, то ли просто разница характеров/, поправляет:

— До окончания следствия.

Затем идет просмотр подоконников, столика около постели, заваленного книгами и лекарствами.

— Вам, Раиса Борисовна, придется встать.

Встать? Не встать? Противно думать, что они будут тащить меня насильно...

Встаю и пересаживаюсь в кресло. Они сразу хватаются за стопку книг, лежащих слева от подушки, /я отобрала их, чтобы лишний раз не вставать с постели/. Подбор, что и говорить, разнообразный: "Война и мир" Л. Толстого, двухтомник Эдмона Ростана, "Алиса в стране чудес" Люиса Кэррола, 17-й номер "Континента" и "Светлое будущее" А. Зиновьева. Последние две книги, естественно, переходят к следовательнице, а над Льюисом Кэрролом, изданным недавно в серии "Литературные памятники" — "любезный" задерживается. Нет, не по служебной обязанности, из библиофильского интереса. Перелистывает, закатывает глаза, прицеливает языком:

— Прекрасная книжка!

Они поднимают подушки, перетряхивают одеяло. Находят мою сумочку и знакомятся с ее содержимым. Как будто никакой крамолы больше нет. Впрочем... "Любезный" перелистывает мою телефонную книжечку и задумывается. Задача у него не из легких. В моей телефонной книжке сам черт ногу сломит — я и то в ней с трудом разбираюсь...

Я спрашиваю, намерен ли он забрать книжку. Да, намерен! Я пожимаю плечами: берите, хотя вы в ней все равно ничего не поймете...

— А вы нам не расшифруете? — искательно заглядывает мне в глаза "любезный".

Дурак — хоть и Кэрролом интересуется.

— Раиса Борисовна, а под диваном есть ящик? — как ни в чем не бывало осведомляется "толстомордый".

Ящика нет: я сплю на обычном пружинном матрасе, к которому приделаны ножки. Но я отвечаю:

— Нагнитесь и посмотрите.

Посмотрел. Нет ящика. Приставил к книжной полке стул, влез, заглянул наверх: ничего кроме пыли.

...Приносят мешки, веревки, сургуч. Получается четыре мешка. Время уже около шести. "Толстомордый" звонит куда-то по начальству и жизнерадостно кричит в трубку:

— Кончаем... Да, порядочно... На полгода хватит читать! Тут еще "подарочек" от Ланды... Да, присылайте машину!

Все уже засургучено, зашито. В протоколе, который мне предъявляет следовательница, нет даже упоминания о тех двоих, кто фактически проводил обыск. Фамилия следователя есть, фамилии понятых с именами-отчествами и даже адресами есть /один живет на неизвестной мне улице Уссурийской, другая привезена из подмосковного городка Железнодорожный/. А вот "любезного" и "толстомордого" — нет. Испарилась!

Я спрашиваю следовательницу:

— Почему в протоколе нет фамилий и должностей вот этих двоих граждан, проводивших обыск?

— Я проводила обыск, — вызывающим тоном говорит Корнакова. — Я имею право брать себе помощников.

— Прекрасно, — говорю я. — Но и я имею право знать, кто рылся в моих бумагах и моем белье, кто унес мои книги, архивы, машинку...

— Я, — повторяет Корнакова.

"Любезный" и юноша-понятой куда-то исчезают, но Корнакова, девица и "толстомордый" остаются. Я продолжаю сидеть в кресле, куда меня "перевели" с постели. Сил после этой пятичасовой процедуры совсем не осталось.

— Вы ложитесь, Раиса Борисовна, — проникновенным голосом обращается ко мне девица, — ложитесь, вам будет легче...

— Мне будет легче, когда вы уйдете.

Наконец, вытаскивают мешки с награбленным (чтобы не было "заведомо ложных клеветнических измышлений", поправлюсь: "с изъятым") добром — и уходят.

## ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПАРТИИ - ВТОРИЧНО И НАВСЕГДА

...Я продолжала болеть. Сначала стало даже хуже: пятичасовой "шмон", несмотря на видимое спокойствие, обошелся мне недешево. Потом полегчало.

Недели через полторы после обыска мне позвонили из Гагаринского райкома КПСС и начали проверять мои биографические данные. Зачем это: ведь в райкоме есть моя учетная карточка? Мне ответили: данные могли измениться.

— Вот в проекте справки, лежащем передо мной, — продолжал женский голос, — сказано, что вы — персональный пенсионер местного значения, а в вашей учетной карточке, что вы — обычный трудовой пенсионер...

Я ответила, что правильно в учетной карточке, я — обычный трудовой пенсионер. Награды? Наград у меня только две: медали "За доблестный труд в Отечественную войну" и "К 800-летию Москвы". Последовали не сказать чтобы очень умные вопросы: почему я не персональный пенсионер и почему у меня нет медали "К 60-летию Октябрьской революции".

— Вероятно, потому, что я не ходатайствовала ни о назначении мне персональной пенсии, ни о вручении медали.

Где-то во второй половине февраля — новый телефонный звонок. На этот раз — из парткомиссии при МГК КПСС: партследователь Иванов приглашает меня приехать для беседы.

Я даже не пытаюсь прикидываться удивленной. Сообщаю товарищу Иванову, что больна и врачи запретили мне выходить из дому. Следует серия вопросов: что со мной, где я лечусь и прочее. Отвечаю: воспаление легких и сердечная недостаточность, а лечусь в районной поликлинике. Опять стандартный вопрос: "Вы — персональный пенсионер?" "Нет, не персональный". "Почему?" "Потому что не просила". Видимо, это с трудом укладывается в сознании: как можно отказаться от привилегий, которые тебе "положены"?

— Как же быть? — голос в трубке несколько растерян. — Нам необходимо с вами побеседовать...

— Что ж, — говорю я, — есть два выхода. Либо подождать моего выздоровления, либо пожаловать ко мне...

— Мы подумаем, — обещает голос и добавляет, — и позвоним.

...И вот наступает день, когда они приезжают ко мне, два старых человека: семидесятилетний Иванов /на три года моложе меня по возрасту и на четыре — по партийному стажу/ и Пожилова. Пожилова — пожилая, но гораздо моложе нас с Ивановым. Эта уже вполне сталинской формации и выучки и, по-моему, до пенсии /а возможно, и сейчас/, имела отношение к неназываемому ведомству. Она больше молчит и старательно записывает. Говорит, спрашивает, увещевает Иванов.

— Так вот, Раиса Борисовна, нам сообщили, что вы, старый член партии, примерно с 1976 года связались с чужими, враждебными нашему строю людьми, общаетесь с ними, вместе с ними подписываете клеветнические письма и вот теперь приглянулись за издание клеветнического журнала "Поиски"...

— Кто вам это сообщил? — спрашиваю я.

— Органы, — простодушно отвечает Иванов.

— А почему вы им верите?

На лице моего собеседника — безграничное удивление.

— Но... но как же? Ведь это — наши органы!

— По-моему, — замечаю я, — вы одного со мной возраста. Должны помнить, как эти "наши" органы уничтожили миллионы невинных людей.

— Ну что вы, Раиса Борисовна, когда это было? — пытается возражать Иванов. — Партия давно покончила с культом личности и вернулась к ленинским нормам. Там, в органах, и людей этих давно нет...

— Людей, может, и нет — традиции остались. И разве это подходящее название для массовых убийств — "культ личности"?

Нет, не понял? Или не захотел понять? По-моему, просто не понял. В общем, ни до чего не договорились. Они уходят и предупреждают, что вызовут меня на заседание парткомиссии. Действительно, мне звонят — раз, и два, и три. А я приехать не могу: сердечные приступы все сильнее. Да, по правде говоря, и не хочу: ну, о чем я буду с ними говорить?

Наконец, мне все это надоедает.

— Если вам так уж не терпится, — сказала я, — решайте без меня. Я пришлю вам письменное заявление.

И послала — заказным письмом. Больше мне не звонили, и событий никаких не было — до третьего апреля.

В этот день ко мне пришли из парторганизации получить партийные взносы. Это уже делалось раньше: я болела четвертый месяц. Только обычно приходил кто-нибудь один, а на этот раз явились трое — три женщины. Все было обыденно: секретарь парторганизации получила у меня рубль двенадцать копеек за март 1979 года, отметила в партбилете, дала мне расписаться в ведомости. А потом вдруг сказала:

— А партбилет я вам не отдам...

Это было, скажем прямо, неожиданно. Расстаться с партбилетом я была готова, но не таким способом. Минимум приличий полагалось соблюсти: хотя бы сообщить мне, что я исключена из партии тогда-то и за то-то...

— Как это — не отдадите? — переспросила я.

— Так, не отдам. Партбилет вам не нужен. Вам его все равно придется сдать — вы ведь уезжаете в Израиль...

— Что-о?!

— В райкоме нам сказали, что вы уезжаете в Израиль и чтобы мы забрали у вас партбилет.

С трудом себя сдерживая, говорю:

— Скажите в райкоме, чтобы они не занимались провокациями. Скажите им, что я никуда не уезжаю. И никогда и никуда не уеду! — Я уже почти кричу. — И хоронить меня придется здесь!

— В райкоме лучше знают, — с великолепной убежденностью возражает она и отводит руку с партбилетом за спину. — Все равно, партбилет я вам не отдам...

— Отдадите! — с внезапной яростью кричу я. Стремительно вскакиваю с постели, и подбежав к ней, сидящей в кресле, вытаскиваю из-за ее спины мой партбилет. Они ошарашены, сбиты с толку и, кажется, начинают смутно догадываться, что тут что-то не так. Во всяком случае они теперь уговаривают меня "не волноваться", а секретарь, выманившая у меня партбилет, неожиданно заявляет: "Ну, если вы не уезжаете в Из-

раиль, надо получить с вас партвзносы и за апрель". Не выпускающая из рук партбилета, я плачу еще рубль двенадцать копеек — и они уходят.

...Почему я так сражалась за партбилет, который готова была отдать и который через несколько дней спокойно отдала?

Это была внезапная, импульсивная реакция. Меня просто захлестнула волна, если можно так выразиться, брезгливой ярости. Ложь, которая меня давно окружала, была внезапно, как комок грязи, брошена мне в лицо.

Вот он, личный опыт!

...Наутро я позвонила в парткомиссию. Пожилова сообщила мне, что решением бюро горкома от 21 марта 1979 года я исключена из партии. С решением могу ознакомиться в Гагаринском райкоме КПСС.

— Почему мне об этом не сообщили?

— Вот теперь, Раиса Борисовна, вы и знаете.

Дальше все пошло обычным канцелярским порядком. Взяв такси, я приехала в райком, нашла учетный сектор, ознакомилась с напечатанным в двух экземплярах на бланках решением, расписалась на обоих экземплярах и сдала партбилет. Молодая женщина, заведующая учетным сектором, запротестовала было, когда я стала записывать формулировку решения: повернув бланк, она показала мне напечатанное непарелью примечание — "Запрещается выносить из помещения, снимать копии и разглашать". "Это вам запрещается, — сказала я, — а на меня партийная дисциплина уже не распространяется."

Перед тем, как уйти, спрашиваю, кто сообщил моей парторганизации, что я якобы уезжаю в Израиль. Да, она уже знает о сцене, происшедшей у меня дома, она приносит свои извинения: это сообщила она. На каком основании? Видите ли, такие неопределенные формулировки исключения крайне редки и обычно применяются к тем, кто уезжает в Израиль... Вот она и думала...

Я не очень верю ей, что-то она не договаривает. Впрочем, вероятно, я уже никогда не узнаю, кто был автором этой короткометражки, которую можно бы озаглавить цитатой из

известной песенки: "Евреи, евреи, кругом одни евреи..."

Так, более чем буднично, завершилась моя пятидесятилетнелетняя партийность.

### **ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ ИСПОВЕДИ**

В начале этого очерка я писала, что ничто не может заменить личного опыта. Это верно, но верно и то, что пережитый опыт уже не повторяется. Нельзя, — утверждал еще древний философ, — дважды вступить в одну и ту же реку: и ты другой, и река другая, и другие кругом берега.

...Меня уже исключали однажды из партии, сорок с лишним лет назад, в эпоху "бдительности", наступившей после убийства Кирова. И не было для меня — тогдашней, тридцатилетней — периода в моей жизни более тяжелого, чем эти полгода отлучения. Даже личные беды /а они были велики/ блекли и меркли перед этим сознанием отчужденности, вытолкнутости, остракизма...

И вот прошло больше сорока лет. Сажу в своей обысканной квартире, перед опустошенными ящиками и думаю. Вот я исключена из партии, в которой пробыла 53 года и пять дней /с 16 марта 1926 года по 21 марта 1979 года/, из партии, в которую вступила честно и восторженно, которой отдавала весь жар души, все силы и помыслы. Ищу в себе отзвук той, прежней, более чем сорокалетней давности боли...

Нет, не нахожу. Нет боли. Нет, правда, и радости. Нечему соболезновать, но не с чем и поздравлять. Соболезновать — чему? Я не горюю, и никаких претензий к бюро горкома у меня нет. Нарушения уставного порядка — пустяки по сравнению с тем, что мои духовные связи с этой партией отмерли давно: они отмирали постепенно, по мере того как перерождалась и умирала сама партия.

Я не собираюсь, как иные, оправдываться в своей бывлой партийности. Коммунистом я стала не случайно, сама, по доброй воле и по убеждению, никто меня не уговаривал и никто на меня не давил. В партию я вступила радостно, готовая на любые жертвы и тяготы. Но — не в эту партию. Той давно

нет в живых, а звание члена этой партии я давно не считаю высоким. И с членством в этой партии мои взгляды действительно несовместимы — что правда, то правда.

Тогда почему нет радости? Почему не с чем поздравлять?

Потому что — поздно. Поздно — и не по моей инициативе. Решение принято и осуществлено не мною, а ими — тогда, когда они нашли это удобным.

Почему я не отправила свой партбилет в ЦК, как Алексей Костерин, еще в 1968 году, после оккупации Чехословакии? Ведь мне уже тогда все было ясно...

Ищу в себе ответа на этот вопрос, хочу докопаться до самой сути. Страх? Может быть, и страх: не буду пытаться выглядеть лучше, чем я есть. Но, мне помнится, главным было что-то другое, что я не могу назвать иным словом, чем тоска. Память о бывлой общности еще была жива, еще ныла и болела, хотя самой общности уже давно не было — так болят не существующие уже пальцы ампутированной руки. Общности уже не было — ни идейной, ни эмоциональной. Я знала: пусть провозгласят свободу мысли и политических объединений, и люди, сидящие со мной на партсобрании, разбегутся не меньше, чем по пяти партиям. А большинство вообще ни в какую партию не пойдет, а пойдет домой — сыты по горло. Но фантом, миф, иллюзия держали мою руку, мешали ей обрубить канат и полететь в пустоту, в одиночество.

И чтобы уж совсем правда: я очень боялась публичного аутодафе. Почти физически я заранее ощущала, как буду стоять под ливнем грязи. И заранее содрогалась /вероятно, я ошибалась: скрыли бы, как скрыли сейчас/. И, подсознательно избегая мучительной процедуры, ухватилась за советы трезвых друзей: не надо-де, оставаясь в партии, ты сумеешь сделать больше. Вечные иллюзии трезвых, вечные оправдания нравственных уступок!

Так или иначе, я этого не сделала. Так с чем же сейчас меня поздравлять? С тем, что они решили за меня? С формальным завершением того краха всей жизни, который наступил давно?

...Река — другая, и берега ее — другие, и несет ее течение совсем не к той цели, к которой я стремилась.

\* \* \*

Может быть, то, что я пишу, никому и не нужно? Опыт каждой жизни неповторим, моя подходит к концу, а молодые плывут уже в другой реке, у них свои проблемы, свои преграды, свои подводные камни и буруны. И все же я смотрю на них не только с надеждой, но и со страхом. Страхом — за них. Да, они избавлены от тех шор, которые носила большую часть жизни я, от той ограниченности и фанатизма, которые были свойственны мне, как и многим моим сверстникам. Но не заменяют ли они их другими? Просто меняют плюс на минус, кумиры на кумиров? Понимание прошлого подменяют его огульным размашистым отрицанием, как в свое время делали и мы. Помнится, мы уверенно говорили: "Ну кто теперь верит в Бога? Одни старики и старушки!" И никто из нас ни Библию, ни Евангелие даже в руки не брал. Не похоже ли это на нынешнее уверенное невежество: "Ну кто теперь всерьез принимает марксизм?" А сами Маркса даже не перелистывали.

Прошло полвека — все изменилось. Что произошло? Новый пророк с неба спустился? Нет, просто чаяния и надежды людей не оправдались. А чаянья были светлыми, надежды — огромными. "За горами горя" нам виделся "солнечный край непочатый". Оказалось: никакого солнечного края, новое горе — горше горького, новый кнут — хлеще старой нагайки.

Так что же теперь, петь гимны нагайке?

И поют. И в самиздате, и в тамиздате все чаще попадают попытки реанимации, нравственной реабилитации позапрошлого. "Солнечный край" рисуется позади, в старой царской России с ее идеалом "православия, самодержавия и народности". И утверждается, что в этом воображаемом раю не было ни нищеты, ни унижения человеческого достоинства, а было сплошное духовное братство и всеобщая любовь. И, значит, не было у революции никаких корней, а просто появились откуда-то демоны-большевики и дьявольским произволением изнасиловали старую добрую Россию. И вот я уже читаю отры-

вок из некоей современной поэмы — гимн-апологию белой армии, которая сражалась "за Русь и власть, за честь и веру". Что знает автор об этой армии? Вряд ли что-нибудь, кроме литературных реминисценций из "Доктора Живаго". А я своими глазами видела этих "белых ангелов", когда они в 1919 году грабили, убивали и насиловали.

Мне возразят: а противоположная сторона? Кто спорит, на этой стороне было, думаю, не меньше жестокостей и зверств /об этом, кстати, и Блок писал, и Короленко, и Бабель, и даже малоизвестный советский писатель Владимир Зазубрин/. Но я помню на этой стороне и героизм, и самоотверженность, и благородство. Помню мальчиков и девочек, моих сверстников и постарше, которые "с песней падали под ножом, на высоких кострах горели". Не за власть, не за привилегии, не за комфорт, не за наследственные имения — за освобождение человечества.

Прошло шесть десятилетий, и пора уже перестать уподобляться тем восьмилетним и десятилетним ребятишкам, которые в 20-х и 30-х годах делили мир на "красных" и "белых", густо зачеркивая "белых". Сегодняшние сорока- и пятидесятилетние дяди с детской непосредственностью проделывают с историей то же самое, только зачеркивают "красных". Среди этих зачеркивателей, руководствующихся по преимуществу принципом "наоборот", — не только историки, перекраивающие историю. Есть среди них и философы, и экономисты, проповедующие, что спасение России придет не от Христа, не от Мессии, не от Маркса и не от правозащитного движения, а от... барыги-спекулянта.

Я думаю, что это очередной истерический бросок в противоположную сторону, в "наоборот": от постылого государственного всевластия над личностью к идеализации всевластной "хапающей" личности. Есть броски и пострашнее: от неосуществившейся идеи братства народов к кровавой идее воинствующего национализма, бродящей сейчас по всему миру и поощряемой в нашей стране.

Гораздо более глубокие корни имеет нынешний поворот многих интеллигентов к религии. Я — давний и необратимый

атеист, но и я думаю, что этот поворот — не только реакция на монополию государственно-обязательного атеизма и не менее государственно-обязательного "марксизма", обесмысленного казенными толкователями. Тут и тоска по утраченной духовности, и стремление к свободе и раскованности непосредственного чувства — многое тут есть...

Я не собираюсь здесь заводить спор с верующими: пусть каждый верит в то, во что верит, и любит то, что любит. Но вот среди людей, как будто протестующих против духовного угнетения, против идеологической монополии, зреет и наливаются соками течение, требующее просто заменить одну господствующую идеологию другой: монополию "государственного марксизма" монополией "государственного православия", современный тоталитарный строй тоталитарностью православной монархии. Если учесть, что это течение сливается и срастается с широко распространяемым и полуофициально поддерживаемым национализмом, — можно представить себе, какая новая "зияющая высота" открывается перед нами.

Пусть каждый верит в то, во что верит, и любит то, что любит. Пусть. Но вот именно — каждый. Этих, сторонников еще одного варианта духовных "ежовых рукавиц", я в союзники не возьму. Как и тех, от кого ушла.

...Эти страницы — не попытка завязать диспут, дать рецепт или, упаси Боже, создать новую "теорию". Это — проверка собственной души, расчет с прошлым, стремление понять настоящее.

...Изменила ли я идеалам моей юности? Нет — пусть обвинят меня в этом все партследователи и партруководители вместе взятые, давно эти идеалы предавшие и продавшие. Я и сейчас не знаю ничего светлее и прекраснее этих неосуществленных /может быть, они и не могли осуществиться, не знаю/ идеалов. Я и сейчас считаю, что межнациональное братство благороднее национальной отчужденности и ограниченности, не говоря уже о ненависти. Что человек не должен быть объектом ничьей эксплуатации. Что демократические права и свободы должны стать уделом всех людей. Это все — идеи социалистические, коммунистические. Я от них не отказывалась, не отказываюсь и не откажусь.

От чего я отказалась — это от монополии на истину, от нетерпимости, от уверенности в собственной непогрешимости. От "единомыслия" и "единогласия" погубивших — я в этом уверена! — те самые идеи, во имя которых я пятьдесят три года назад вступила в партию. "Единомыслия" и "единогласия", давно уже выродившихся в насилие, фарс, насмешку и ложь. Теперь я считаю главным, оставаясь собой, — пробиться к другим, к их голосам, к их мыслям. Не анафемы провозглашать и не гимны петь, не снабжать прошлое ни ангельскими нимбами, ни дьявольскими рогами, а попытаться понять его, чтобы пробиться к будущему. Попытаться понять: что произошло. Что произошло с людьми и с их извечной мечтой о "светлом будущем", которое теперь упоминается не иначе, как в иронических кавычках?

Но ведь человеку всегда было свойственно — свойственно и сейчас! — надеяться на светлое будущее без кавычек. Надеяться — и по мере сил приближать его. Хотя бы искать путей такого приближения.

Как искать? Единственный, хотя и трудный в наших условиях способ поисков — мысль и слово. Движение мысли, выраженное в слове, которое могут прочесть другие. Законсервованность, законсервированность, остановленность мышления — вот что губительно. Система, в которой мы живем, настолько замкнуто-тупа, настолько лишена всякого свежего дуновения, проблеска, что встречную мысль надо разыскивать чуть ли не ощупью. Даже встретиться двум мыслям подчас трудно. И мы нащупываем, ищем, срываемся, сходимся, расходимся, теряем нить, хватаемся за другую. Нам мешают, не дают додумать, договорить, понять друг друга, к нам врываются с обысками, хватают наши статьи и письма, вызывают на допросы, угрожают...

Но движение высвобожденной, раскованной мысли неостановимо.

Так начался в шестидесятых годах и мой путь, который закономерно привел меня ныне к обыску и к исключению из партии. Он начался с высвобождения собственной мысли из-под гнета "единомыслия" и со встреч с другими, по-разному

мыслящими людьми. Естественно, что на этом пути я встрети­лась и с теми, общение с которыми инкриминируется се­годня как преступление, — с правозащитниками, диссидента­ми, назовите как хотите.

Я глубоко уважаю этих людей за бесстрашие и самоотвер­женность, с которыми они борются за права человека, не употребляя никакого оружия, кроме мысли и слова. Я ра­дуюсь тому, что сблизилась с некоторыми из них и что моя мысль и мое слово /и моя подпись/ иногда включаются в их мирный арсенал.

Но я знаю: у меня и здесь вряд ли найдется много едино­мысленников. По-разному мы оцениваем прошлое, различно прогнозируем будущее. И я знаю: если партследователь тре­бовал, чтобы я покаялась в измене коммунизму, то найдутся и такие, что потребуют от меня раскаяния в верности ему.

Покаяний не будет — ни здесь, ни там. Я ничему не изменя­ла и никому не собираюсь присягать. Отречения ни от моего прошлого, ни от моих сегодняшних друзей от меня никто не дож­дется.

Да, пересматривать мне есть что, и есть чего стыдиться. Но есть и чем гордиться. Отказываясь содействовать нынешним насильникам, я одновременно отказываюсь признать их на­следниками славных поколений русских революционеров. Тех, кто самоотверженно и бескорыстно защищал права че­ловека тогда и протягивает из прошлого руки сегодняш­ним правозащитникам. Я продолжаю чтить "немодные" со­циалистические идеи, ныне окровавленные и разодранные на лозунговые тряпки "толстомордыми" из "органов", райко­мов /и повыше/, пытающимися прикрыть ими свою идейную наготу.

С тем меня и возьмите.

Демократическим ли социализмом, либеральной ли демо­кратией, будет названо общество, к которому мы стремимся, но в этом обществе мысль, слово, личность должны быть свободны. И ни у кого не будет кляпа во рту, и ни у кого государство не станет воровать его дневники, статьи и письма, и никто не пойдет в лагерь за разномыслие с властью или за помощь ближним. Эта цель у нас общая.

И пусть каждый делает что может.

Я могу немного: мало осталось времени и мало сил. И я не берусь ответить на многие жгучие вопросы, на главный из них: почему произошло то, что произошло, и могло ли быть иначе? Пусть ищут ответа ученые. Я — не теоретик, не философ, не историк. Просто старый человек, много повидавший, много думавший и кое-что понявший. Может быть, поздно, но все­таки понявший. И моя более чем семидесятилетняя жизнь совпадает с более чем шестидесятилетней историей моей стра­ны, которую я наблюдала и в которой участвовала. Одна из тех, кому есть что сказать и кто может сказать, как это было на самом деле. И постараться сказать "правду, одну только правду, ничего кроме правды!"

*Апрель 1979 года.*

---



---

## ШАНС

*Вышел в свет и рассылается читателям первый номер Нью-Йоркского журнала "Шанс", издаваемого международным бра­копосредническим бюро. На страницах журнала публику­ются статьи о путях организации собственного бизнеса, обзор американского законодательства о браке и семье, интересные статистические данные о жизни современной Америки, брач­ные объявления на русском и английском языках. Журнал "Шанс" издается шесть раз в год и распространяется больше всего в США и Канаде, а также в Европе и Израиле. Объем журнала 55 страниц.*

*Заказать можно по адресу:*

I.M.B. P.O.Box 248  
NEW YORK, NEW YORK 10036, USA.

*При заказе высылайте чек на 4 доллара (стоимость пере­сылки включена).*

---



Михаил ДЕМИН

## ГОРЬКОЕ ЗОЛОТО

### ДРАМА В ТУАЛете

Ну, а как же обстояли дела в моем клубе? На этот вопрос мне, признаться, не так-то легко ответить. В общем, клуб я постепенно отремонтировал, привел в порядок. И теперь он весь блестел. Блестели вымытые окна. Блестели начищенные полы во всех комнатах. В кинозале стояли скамейки, заново выкрашенные и правильно пронумерованные; для них я раздобыл специальный лак.

Но этим блеском, собственно, все и исчерпывалось. Молодежная работа как-то не двигалась. В клуб иногда сходились посмотреть кино, потанцевать. Однако в самодеятельности участвовать никто не хотел. И грандиозный сельский хор, о котором я все время мечтал, так и не складывался, не получалось.

И все же я настойчиво добивался своего. Ходил по домам, уговаривал, упрасивал. И однажды, уже в начале лета, мне наконец удалось заманить в клуб нескольких девушек и парней.

Окончание. Начало см. в 46 номере журнала.

Мы приготовились к репетиции. Но баяниста почему-то не оказалось на месте; он куда-то исчез. Прождав его часа два, я, взбешенный, послал за ним клубную уборщицу тетю Настю. Она очень скоро вернулась и сообщила, что Петр болен и придти не может.

— Чем это он болен? — грозно спросил я.

— Не пойму, — ответила Настя, — такого я сроду не видела. У него зашиблена голова и обожжена вся задница.

Репетицию поневоле пришлось отменить. И молодежь с хохотом разошлась.

И на этом-то, собственно, и кончается рассказ о создании народного хора. Дитя умерло, так и не успев родиться.

Вскоре, в конце июня, я простился с Очурами и уехал в Абакан. Но до этого, произошло еще немало удивительных событий. И поскольку они как-то связаны между собой, я расскажу обо всем по порядку.

А пока что вернемся к Петру.

\* \* \*

Он лежал на кровати на животе. И голова его действительно была забинтована, и задницу тоже украшала белоснежная марлевая повязка.

И когда я спросил, что это с ним, Люда воскликнула негодуя:

— Он сам во всем виноват!

— Ну виноват, — пробурчал в подушку Петр — не отрицаю. Но откуда ж я знал, что так все получится? Если б не этот сортир...

— А кто его сотворил? — воскликнула Люда, — кто построил?

— А кто все время твердил: "Хочу жить по-городскому, по-западному. Не желаю бегать на двор!" Сама же спровоцировала. Зимой, дескать, холодно, летом — комары. И вообще, неизящно.

— Правильно говорила! Да, хочу по-западному. Чтобы было в доме... Но разве я могла предположить, какие фокусы ты начнешь устраивать в туалете?

Туалет! Я припомнил, что эта тема волновала Петра уже давно; он переписывался с Абаканом, заказывал там какие-то трубы и особый, мраморный стульчак. Как-то раз я встретил его идущим по улице с надетой на шею овальной крышкой от стульчака. Крышка эта болталась, как гигантский деревянный ошейник. И выглядел Петр дико. Но это его ничуть не смущало. Он шел посвистывая, вперевалочку и явно был доволен собой.

Теперь он, очевидно, идею свою осуществил. Но о каких же "фокусах" шла речь? Мне надоела унылая их сортирная перебранка, и я попросил все объяснить. И вот, что Петя рассказал.

Началось с того, что однажды на абаканском черном рынке Людмила приобрела заграничную, синтетическую, редкостного покроя кофточку. Была она полупрозрачна и имела множество забавных мелочей: какие-то разрезы, клапаны и кружевца. Когда Людмила ушла на работу /она служила в местном магазине/, Петр принялся разглядывать эту шикарную новинку. А так как он перед этим что-то писал и продолжал машинально держать авторучку в пальцах, он случайно испачкал кофточку чернилами. Посадил крупную кляксу, засуетился. И тут же посадил вторую. Нагрел в тазике воду и начал кофточку стирать. И в результате испачкал ее всю.

Тогда он побежал к приятелю, живущему по соседству. И попросил у него бензину. Бензина у приятеля не оказалось, зато нашлась какая-то другая жидкость — некий химический препарат, действующий, по его словам, еще сильнее.

Вернувшись домой, Петр вылил жидкость в тазик. Он надеялся, что грязные пятна растворятся, растают на кофточке. Но, к его глубочайшему удивлению, начал таять сам материал.

Петр совсем забыл, что имеет дело с синтетикой. А теперь было уже поздно. Кофточка расплзлась, потеряла всякую форму. И он в раздражении выплеснул все, что осталось, в ватер-клозет, в свою новую мраморную посудину.

Потом он закурил, задумался. Постоял с минуту. И уселся на стульчак. Прошло какое-то время. Докурив попиросу, Петр машинальным жестом швырнул окурок вниз.

Так он делал всегда, когда сидел в туалете. Но на сей раз случилось нечто невообразимое. Остатки кофточки вспыхнули, из стульчака вырвалось гудящее пламя. Подброшенный взрывом Петр вылетел из тесной кабины, выбив голову фанерную дверь.

— Но Людка-то сердится, кричит, ты думаешь, почему? — сказал Петр и шевельнулся, кряхтя. — Думаешь, это она меня жалеет? Нет, ей не меня, ей покупки жалко. Все-таки импортная штучка. Вся насквозь прозрачная, европейский шик!

— Так ведь за этот шик и за сортир сколько денег было заплачено! — воскликнула плачущим голосом Людмила. — Мешок первейшего луку, подумать только. Целый мешок!

— Ничего, не хнычь, — отозвался Петя, — вот подсохнет седалище, я на север поеду. У нас еще четыре мешка в запасе. Продам их подороже, и все исправим. Все будет по-новому.

— Опять по-городскому? — спросил я, — по-западному? На это мне никто уже ничего не ответил.

...Случай был смешной, пустяковый. Но все же он сыграл, как вы уже знаете, весьма серьезную роль в судьбе молодежного хора. Хор распался, рассыпался. И не только на клубных, но так же и на моих личных делах отразилась эта "туалетная" драма.

В какой-то мере из-за нее я неожиданно познакомился с той самой роковой красавицей Клавой, которая сгубила когда-то Васюку Грача. Может, и не нарочно, бессознательно, но все-таки сгубила.

После того, что рассказывал Алексей, мне, естественно, давно уже хотелось на нее поглядеть. До сих пор это как-то не удавалось. И вот теперь она сама пришла в клуб, ко мне. Именно ко мне.

## РОКОВАЯ ЧАЛДОНКА

Среди славянского населения Сибири есть особая группа, именуемая чалдонами. Произошло это название от сочетания слов: "Чалить с Дона". Это дальние потомки русских конквистадоров, донских казаков, когда-то отчаливших от родных

берегов и прибывших в тайгу, на север, покорять инородцев.

Инородцев казаки покорили, но одновременно они и сами ассимилировались здесь, осели, смешались с таежными жителями. От смешанных браков и пошли чалдоны. Как их, собственно, определить? Это ведь не народность и не племя. Это некий своеобразный этнический слой, сохраняющий в себе многие черты и казаков, и таежных жителей. Чалдонами с давних пор называют в Сибири и на Дальнем Востоке лесных бродяг, уголовников, вообще опасных людей. Однако так называют только мужчин. К женщинам же отношение иное. И слова "чалдонка", "чалдонушка" исполнены для сибиряков особого смысла и поэтичности. Женщины-чалдонки славятся своей редкостной красотой. Смешение рас придало им необычную прелесть. Среди них встречаются самые разные типы. Например: по монгольски прямые, блестящие, черные волосы, смуглая кожа и светлые, зеленые или голубые глаза. А бывает, наоборот: цвет волос пшеничный или рыжий, а глаза азиатские, узкие, черные, заметно приподнятые к вискам.

К этой, второй категории, как раз и принадлежала Клава. Азиаты шутят: "Если женщина красива, то пусть ее будет много". Так вот, ее было много. Но удивительно: тугая, полная ее грудь и мощные бедра вовсе не казались слишком большими, нет, все в ней было как-то очень ловко подогнано. В движениях сквозила ленивая грация.

Когда я увидел ее, я понял Грача, понял, почему он был так неосторожен. Тут действительно о многом можно было забыть.

Она пришла просить у меня машину. И сказала, подрагивая ресницами:

— Машина-то все равно стоит без дела. Петька лежит, не двигается. А вы сами водить не умеете.

— А откуда ты знаешь, что не умею?

— Да он говорил. Это все знают.

"Трепач чертов, — подумал я недовольно. — Кто его тянул за язык?"

Подойдя ко мне вплотную, она улыбнулась ласково и лу-

каво. У нее был крупный, свежий рот, и помимо прочего оказались еще ямочки на щеках.

— Ну, пожалуйста, — протянула она, — это всего лишь на два дня: на субботу и воскресенье. Мы хотели всей семьей в город съездить. За машину не беспокойтесь — поведет человек опытный, с правами.

И потом, чуть помедлив, добавила:

— А когда вернусь, мы еще увидимся. Если кто мне делает хорошее, я не забываю.

\* \* \*

В понедельник утром машина уже вернулась: придя в клуб, я обнаружил ее в гараже. Она стояла чистенькая, вся умытая.

А к вечеру того же дня, по селу прокатилась тревожная весть о том, что в кустах, вблизи Абаканского тракта (на перегоне между Осиновкой и Очурами) найдены трупы двух местных крестьян. Это были очурские "миллионеры". Одного из них звали Осип Кузмичев, другого — Терентий Салов.

Оба они еще весной, с началом навигации, отправились на север с луком. Лука было много, целая баржа. И вот теперь они возвращались с богатейшей выручкой. И кто-то ограбил их и прикончил. Судя по слухам, весьма жестоко. Трупы были найдены обезображенные, и их с трудом удалось опознать.

Событие это вызвало много разговоров. Так как в самых Очурах нет ни пристани, ни даже простого причала (здесь трудный фарватер, водовороты, крутые, обрывистые берега), то все суда — и катера, и баржи останавливаются в Абаканском речном порту. От Абакана до Очур около двухсот километров. Здесь курсирует самолет, но крайне редко и нерегулярно. Автобусной линии вовсе не существует. И потому возвращающиеся в село люди обычно нанимают машины в городском автопрокате или же используют случайный попутный транспорт. Второй вариант наиболее распространенный. Однако большинство путников (особенно из числа спекулянтов), не желая зря рисковать, предпочитают ехать только с такими шоферами, которые им хорошо знакомы.

Это общее правило. И уж тем более не стали бы от него отступать Терентий и Осип — мужики тертые, хитрые, не верящие никому. И все-таки кто-то сумел перехитрить их и заманить в тайгу...

На селе судачили и терялись в догадках: кто же это мог сделать? И чья же была машина? Только я один, пожалуй, уже понимал, догадывался, чья.

Наш клубный газик постоянно мелькал в селе и знаком был в принципе всем. Так что это одно уже могло привлечь путников и настроить их благодушно. Ну а если и за рулем еще сидел кто-нибудь из своих, из очурских, — то отпадали вообще всякие сомнения.

Да, дело было провернуто ловко, умело. Обманули не только тех несчастных мужиков, но и меня тоже. Мной, мою машиной воспользовались как приманкой. И кровь, пролившаяся воскресной ночью, запятнала бы как бы и меня самого.

И снова я — в который уж раз! — убедился в том, что таежный мир совсем не так примитивен, как кажется. Как, например, это кажется Хижняку.

Вечером мы беседовали с Алексеем, и он подтвердил мои подозрения:

— Помнишь, я тебе говорил про Клавкиного брата, про Ландыша? Так вот, она, конечно, машину добывала для него. А может, и сама с ним ездила...

— Но какова же все-таки баба, — процедил я сквозь зубы, — красавица, а столько гнили внутри. Какими глазами эта змея теперь посмотрит на меня?

\* \* \*

"Змея" посмотрела на меня спокойно, с легкой улыбкой. Ее пушистые ресницы были полуопущены, уголок крупных ярких губ поджат. И на щеке подрагивала ямочка.

— Пойдем-ка ко мне, — сказала она, — выпьем немножко. За мной ведь должок...

У нее была манера смотреть не прямо в лицо собеседнику, а чуть искоса, уголком глаза, как бы слегка отвернувшись.

И этот косящий взгляд казался особенно дразнящим, загадочным. Но все же в этом ее повороте лица, в длинном изгибе шеи угадывалось что-то и впрямь змеиное.

— Ладно, — сказал я, — пойдем.

Затем, когда мы вышли из клуба, спросил:

— Ну, а как, кстати, поездка? Как все прошло?

— Да прошло неплохо, — лениво повела она плечом. — Весело...

Меня передернуло от ее слов, однако я ничем себя не выдал. Надо было хорошенько разобраться в этой истории — выяснить до конца. Ведь возможно, что ни она, ни ее брат к убийству и не были причастны. Чем я, в конце концов, располагал? Только догадками, подозрениями. Хотя подозрения мои, конечно, были серьезные. Очень серьезные. Но все равно скандал сейчас затевать было нельзя. Я это чувствовал. Наоборот, следовало изображать глупую влюбленность, растерянность.

Впрочем, это-то мне давалось без большого труда. Странное, сложное чувство я тогда испытывал. В нем перемешалось многое. В сущности, я уже был влюблен в нее. И очень. И в то же время, я ни на грош не верил ей, подозревая эту чалдонку в самом худшем. Все это в общем-то полностью совпадало со знаменитым одесским изречением о "дерьме и повидле"...

"Ничего, ничего, я быстро тебя расколю, — думал я, шагая с ней по селу и невольно любуясь каждым ее движением, — обмануть меня можно только один раз. Я уже доберусь до всей твоей кодлы. Мы еще покнемся, посмотрим: чье разобьется..."

"Ну, а если она все же окажется ни в чем не замешанной? — спросил другой внутренний голос, — если окажется "чистой?"

"Ну, тогда, — сказал я мысленно, — начнется другой сюжет. Тогда мы посмотрим, как же нам жить дальше".

"Ты в самом деле, уверен, что это именно то, что тебе нужно?"

"Не знаю, что мне нужно. Но я поэт. Много ли есть женщин красивее?"

Я вздохнул. И ускорил шаги. Сейчас самое главное было — быстрее добраться до ее дома.

### КАПКАН.

Она жила на самом краю села, у абаканского тракта. В одной половине дома помещалась ее семья, другая — принадлежала ей. Здесь было чисто, уютно и как-то даже нарядно.

Белели на окнах занавесочки, пол устилала пестрые циновки. В одном углу виднелась низкая широкая тахта, устланная оленьими шкурами, в другом — высился зеркальный гардероб. Посреди комнаты стоял большой длинный стол, весь уставленный бутылками и блюдами с закуской.

И возле стола, посвистывая и заложив в карманы руки, прохаживался сухощавый, высокого роста парень, с седой прядкой, спадающей на бровь.

— Привет, — сказал он, поблескивая металлическими зубами, — я давно тебя жду!

Он крепко пожал мне руку и указал жестом на стул. Потом, ласково потрепав Клаву по плечу, произнес, подмигивая:

— Ну-ка, сестричка, позаботься — налей по стопочке. Надо ж обмыть встречу!

— Так это, стало быть. Ландыш, — сообразил я, — интересно, зачем он здесь? Ох, неспроста... Наверное, сговорились заранее, и она привела меня специально для него, а вовсе, не для себя.

При этой мысли я почувствовал обиду...

Между тем Ландыш уже тянулся ко мне с наполненной стопкой. И я поднял свою. Клава тоже. Мы выпили за встречу. Потом еще.

Я помалкивал, хрустел огурчиком и ждал, что же он мне еще скажет, когда заговорит всерьез.

И он наконец заговорил.

— Тебе Клава объяснила, зачем позвала тебя?

— Н-нет, — пробормотал я.

— Ну, как нет? — подняла брови Клава, — я же намекнула: за мной должок.

— Вот, вот, — подхватил Ландыш. — Тебе тут причитается кое-что. И куш не малый.

Он полез в боковой левый карман пиджака, зашуршал там и вытащил пухлую, толщиной в два пальца пачку сотенных.

— Держи! — сказал он, протягивая мне банкноты. — Твоя доля.

— Доля? — спросил я, отшатываясь, — какая? За что?

— Ну, чудак. За что? За работу!

"Стало быть, я не ошибся, — подумал я, — все так и было, как я полагал. Все точно, все точно!"

А Ландыш продолжал, держа деньги в протянутой руке:

— Ты же нам помог и как еще! Сазаны-то\* ведь сходу узнали твою машину. Ну и клюнули на наживку. И оказались жи-и-рные!

— А как ты им, кстати, объяснил мое отсутствие?

— Сказал, что ты задерживаешься в городе на три дня и машину отсылаешь пока обратно.

— А тебя-то они, вообще, знали?

— Нет, к моему счастью. Я им представился как твой новый шофер.

— Ловко, — проговорил я, — ничего не скажешь, ловко.

— Да уж, конечно. Все чисто сделано, точненько, как в аптеке!

Рука его по-прежнему оставалась протянутой. Но потом она дрогнула, опустилась. Он посмотрел на меня с удивлением:

— Ты что не берешь? Не хочешь? Может, думаешь — мало?

— Плевать я хотел на эти гроши, — сказал я резко, — ты меня купить решил? Не выйдет.

— Ах, вот ты как, — тихо, с расстановкой произнес он. Улыбка сползла с его лица, и оно посерело, осунулось, словно бы сразу постарело. — Вот как... С нами, значит, не хочешь?

\*Сазан — тот, кого обворовывают или грабят. Это жертва блатных, их добыча. Богатая добыча — "жирный сазан".

— Ты с ума сошел, — сказал я вставая, — о чем ты толкуешь?

Тогда он тоже встал. И вдруг бешеным движением швырнул деньги на стол и круто поворотился к Клаве. И крикнул, наклоняясь к ней:

— Что ж ты, паскуда, трепала? Языком своим сучьим лязгала? Что ж ты уверяла, что он твой, что он ручной, что из него веревки вить можно?

Стол шатнулся. Зазвенели сталкиваясь бутылки. Одна из них опрокинулась, и вино полилось Клаве на платье. Но она как бы ничего не замечала; она сидела, напрягшись, вытянувшись, прикусив нижнюю губу.

Секунду Ландыш смотрел на нее. Потом грузно сел на заскрипевший стул. Вытряс из пачки две папиросы. Одну кинул себе в рот, другую протянул мне.

— Садись, покурим, — сказал он сопя, с трудом переводя дыхание, — поговорим спокойно. Дело вот какое. Я тебе предлагал долю по-честному, по-доброму. Не хочешь — хрен с тобой. Но учти: работать ты на меня все равно будешь. Не за деньги, так задарма. Но будешь! Ты мне нужен.

Я взял папиросу. Зажег ее и спросил с интересом:

— Что ты сказал? Я тебе нужен? Забавно. А для чего?

— Для дела. Ты же корреспондент! Всюду бываешь, все можешь узнать. Вообще, человек полезный. Но главное — это твоя машина.

— Ты что же, сам не можешь машину купить?

— Здесь, голубок, не Америка, — наставительно заметил он. — И даже не Москва. Машин тут мало, и каждая на виду, на учете. Да и как купить? Даже если и купишь, сразу же придется объяснять: откуда такие деньги. Легковая машина стоит в среднем двадцать тысяч, а Клавкина месячная зарплата в сельсовете — семьсот рублей. Вот и толкуй.

— Так купи на свое имя.

— Тем более, нельзя. Любой гражданин должен иметь службу и прописку. А я же не фрайер, я жиган! Да и не живу я здесь.

— А где? — спросил я с наивным видом.

— Под землей, — ответил он резко. — И вот именно потому мне нужна машина легальная, казенная, чистая, такая, к которой никто не мог бы придраться. Такая, как твоя. Ого, сколько с ней еще можно дел провернуть!

— Ну, а если я не соглашусь, — сказал я, сильно затягиваясь папиросой и глядя на него сквозь дым. — Ты что же, зарежешь меня что ли?

— Это-то запросто, — небрежно махнул он рукой. — Это дело плевое. Но только зачем? Ты все равно в капкане. Вот ты где у меня.

Он сильно, с хрустом, сомкнул в кулак длинные свои пальцы. И потряс кулаком перед моим лицом.

— Но, но, не пугай, — сказал я, чувствуя, как поднимается во мне волна гнева. — Тот, кто пытался меня пугануть, давно уже на кладбище, а тот, кому это удастся, еще не родился.

Я говорил так, но все-таки, должен признаться, чувствовал себя неуверенно. Я был растерян и даже напуган. Меня безотчетно тревожила его странная доверительность, непонятная эта откровенность. Слишком уж смело он играл, слишком легко открывал свои карты!

Я был твердо уверен, что у него в запасе имелся какой-то последний, самый главный козырь... Какой?

— Чудак, — сказал примирительно Ландыш, — я тебя вовсе не пугаю. Но ты действительно в капкане. Ну, рассуди сам: дело-то было сделано в твоей машине. И тебя теперь ничего не стоит заложить, отдать на съедение. Как ты докажешь, что сам не участвовал, а?

— Могу сказать, что машину просто украли.

— Почему ж ты тогда сразу не заявил? — Он покачал головой. — Нет, это не оправдание.

— Но прежде надо доказать, что была именно моя машина!

— А вот это нетрудно. Доказательства есть.

— Какие же? — Я указал пальцем на Клаву, сидящую все в той же застывшей, напряженной позе. — Она что ли, подтвердит?

— Можно и без нее обойтись. Вот, смотри.

И пошарив в правом кармане пиджака, Ландыш вынул и протянул мне небольшую фотокарточку.

И тут я обмяк. Понял, что попался...

На этом фото мой газик стоял прямо напротив речного вокзала и был он снят спереди, в лоб. И с близкого расстояния. Фотография озадачила меня не на шутку. Еще бы! Ведь здесь был отчетливо виден номер машины. А за ветровым стеклом маячили фигуры шофера и какого-то пассажира. Шофер сидел, низко нагнув голову, так что виднелась одна лишь фуражка; пассажир же, наоборот, глядел, улыбаясь прямо в объектив.

Щелкнув ногтем по карточке, по этому широкому скуластому лицу, я спросил:

— Кто такой?

— Осип Кузьмичев, — с особенной внятностью проговорил Ландыш.

— Так. А теперь объясни, для чего сделал этот снимок? Специально для шантажа?

— По разным причинам. Ну и, конечно, для того, чтоб ты сидел тихо, не рыпался. Чтоб знал: если стукнешь, сразу же сам погоришь.

— А кто же снимал? — Я повертел в пальцах фотографию.

Ландыш сейчас же сказал, отбирая ее:

— Ну, голубок, ты больно много вопросов задаешь. А тебе бы надо теперь поменьше болтать и побольше слушать.

Да, я попался! И если это капкан, то капкан настоящий, — думал я, — стальной, медвежий, хватающий намертво. Как же быть? Во всяком случае сейчас надо постараться как-то выиграть время.

— Ну, что ж, — помолчав, сказал я, — раз такое дело, я подумаю. Может, мы и столкнемся. Но ты меня не торопи!

— Даю неделю сроку, — блеснул своей металлической улыбкой Ландыш.

Он глянул на стол, по которому плавали в винных росплексах сотенные билеты. И добавил с оттенком угрозы:

— А гроши все-таки возьми. Твоя доля!

— Нет, — сказал я, — отдай мою долю Клавке.

— Да у нее и так есть.

— Ничего, это ей будет как дополнительная премия. За старания, за хлопоты, за красоту.

Клавка! Вот еще что удручало меня, такого предательства я все же не ждал. Был бы я в эту минуту один, я бы, наверное, заплакал. Или же — что всего вероятней — напился бы с горя в дребезги.

И протянув ей пустую стопку, я попросил, нет скорее потребовал:

— Налей!

Она вздрогнула, ожила. И опять посмотрела на меня чуть искоса, вполоборота, дразнящим своим взглядом. Но я не ответил на него. Не поднял глаз.

В этот момент в сенях послышался топот, смутные голоса. В дверь гулко стукнули. И Ландыш воскликнул весело:

— Вот и кодла явилась. Принимай гостей, Клавка! Ох и гульнем нынче, ох и гульнем!

## ЧЕЛОВЕК С "НЕЖНОЙ" КЛИЧКОЙ

Шумная компания ввалилась в избу; все молодые, мордастые, здоровенные! И среди новых этих лиц я вдруг увидел одно, которое знал давно, которое запомнилось мне еще с лагерных пор, со времен легендарной "сучьей" войны\*.

Это был Ванька Жид — хотя к евреям он не имел ни малейшего отношения, а был чистокровный русак. Кличку свою он, однако, принимал спокойно, равнодушно (среди блатных шовинизма не существует) и крепко дружил с Левкой жидом, евреем уже истинным, неподдельным. Эти два Жида (одесские воры) славились в мире картежников как виртуозные и опасные игроки. И в лагере на пятьсот третьей стройке, на знаменитой "мертвой дороге", они обыгрывали всех блатных. Я сидел с ними вместе. И однажды мне довелось присут-

\* "Сучья война" — кровопролитная война в преступном мире, возникшая в результате раскола на две партии. Одних, блатных, отступивших от старых традиций, стали называть "суками". Другие же получили прозвище "законников", или "чистопородных".

ствовать при ссоре друзей, вспыхнувшей в тот момент, когда они впервые решили сыграть вдвоем. Сыграть друг против друга.

Игра эта окончилась вничью. Но дружба их рухнула в результате. Раздраженные, исполненные взаимных обид, они разошлись. А чуть позже, в ту же ночь, Левка Жид нанюхался марафету и зарубил топором "ссученного" бригадира из соседнего барака, сорвал на нем свою злость.

После этого пути наши разошлись. Левку посадили во внутреннюю тюрьму, а всех нас разогнали по разным штрафникам. Я попал в отдаленный, закрытого типа, строгорежимный лагерь № 36, расположенный за полярным кругом, на реке Курейке. Ивана в моем этапе не было, и куда его угнали, я так и не смог узнать.

И вот теперь он появился в Очурах. Я удивился и искренне обрадовался ему.

Первые слова Жида были:

— Эй, Чума, как ты сюда затесался? Ведь ты же вроде бы завязал. Или передумал?

— Потом объясню, — сказал я, — ты мне сначала расскажи о себе, о Левке.

— Нету Левки, — печально и тихо сказал Иван, — нету. Тогда, на стройке как раз находился специальный выездной трибунал. Ну, Левку и приговорили сходу. Отправили на луну\*. А я... что я... что ж. Освободился, как видишь.

— Освободился по звонку? \*\*

— Нет, по амнистии.

— Ну, а в Одессу возвращаться не думаешь?

— Думаю, но потом. Спешить зачем? Здесь тоже интересно. Места здесь привольные, золотые!

— Горькое золото, — пробормотал я.

— Это ты о луке? — прищурился он, — конечно. Но вниз по реке, к северу, есть и настоящее рыжье.\*\*\* И какое! Золотишко там у них называют: "Рыжим дьяволом". Но если это и

\* Отправить на луну — расстрелять.

\*\*\* Звонки — законная, точная дата освобождения.

\*\*\* Рыжье — на блатном языке золото. От слова: рыжее.

дьявол, я с ним не прочь подружиться. — Он выпил, отдулся, понюхал корочку. — Да, стараюсь.

— Так ты разве там обитаешь? — удивился я.

— Ага. Я здесь случайно, проездом. — Он неопределенно пошевелил пальцами. — По разным делам...

Мы сидели на краю длинного стола, на самом углу. Тихо переговаривались, не спеша выпивали. А на другом краю шумела кодла Ландыша. И сквозь гул голосов прорывался его пьяный, развалистый басок:

— Этот Каин, дурак, он что делал? Очурских спекулянтов не трогал, а шерстил магазины, склады. Живые гроши прямо под ногами у него валялись — он их не брал. И мне мешал. Как собака на сене: сама не ест и другим не дает.

Разговор заинтересовал меня. Я прислушался. Ландыш говорил о Каине как о сопернике. И он чем-то явно хвастал, его несло.

— Все время мешал! Тут раньше что было? Мужики из-за его налетов боялись ночами ездить по тайге. А если и собирались в дорогу, так группами, человек по десять. Но потом он все-таки ушел, дорога расчистилась. И вот результат: сто шестьдесят восемь кусков\* чистоганом! А? Каково? Сто шестьдесят восемь! И главное, это не государственные, не казенные гроши, а спекулянтские. Кто их всерьез будет искать? Они же тайные.

И я мгновенно напрягся, услышав фразу о "расчищенной дороге". Ведь буквально тоже самое и не так давно говорил мне старший лейтенант милиции Хижняк.

Мне припомнился весь наш тогдашний разговор: о нравах таежных жиганов, о секретной агентуре Хижняка. И о каком-то таинственном типе, который устраняет своих соперников, выдавая их властям, и таким образом "расчищает себе дорогу". Я все подробно вспомнил. И с глаз как бы спала пелена.

А Ландыш продолжал разглагольствовать. И кто-то перебил его смеясь:

\* Кусок - тысяча.

— Действительно фрайера! Олени! С такими грошами в тайгу поперлись. Да я бы сам не рискнул.

— А куда бы они их дели? — ответил Ландыш, — в сберкассу ведь не отдашь, там сразу заинтересуются. Они же не артисты Большого театра, а простые мужички. Да еще из самого нищего колхоза. Нет, у них только один шанс и есть — зарывать гроши в землю. Ну, а где же зарывать, как не дома?

И сейчас же другой голос сказал:

— Говоришь, дорога расчистилась. Но мы ее уже загадили. После этой истории мужики снова уйдут в камыш.

— Ничего. Мне один из клиентов, Салов, перед смертью рассказал, где его миллиончик припрятан. Покаялся сукин сын, исповедался. И этим делом мы позже займемся. Вплотную. Пусть только шум слегка поутихнет.

Значит, ты их еще и пытал, — подумал я, с ненавистью глядя на Ландыша. — И это ты и есть тот самый новый "Азеф" — провокатор, подонок, человек с "нежной кличкой".

Теперь многие детали, ранее казавшиеся мне неясными, обрели конкретность, отчетливость. Вот тоже самое, наверняка, произошло и с бедным Грачем. Так же, как и я, он попал в медвежий капкан и не смог выбраться. И поневоле стал двойником, начал предавать своих ребят. И в результате оказался под колесами.

И так же точно, как и меня сейчас, завлекла, заманила его Клавка.

Любопытное обстоятельство: во всех сомнительных ситуациях так или иначе всегда присутствовала она, ее имя. Постоянно получалось так, что Грач сначала наведывался к Клавке, а затем уже появлялась милиция.

И он мог вообще никого и не выдавать сознательно. Мог хранить верность ребятам, но, конечно, на вопросы Клавки он отвечал откровенно. А она интересовалась многим. И он ни о чем не думал, не догадывался. Ведь он же ей верил; она же была "своя"!

А пьянка шла своим чередом. Откуда-то возникла гитара. И под струнный звон, голос Клавки, низкий, чуть задышающийся...

**Ты не стой на льду — лед провалится.**

**Не люби вора — вор завалится.**

**Вор завалится, будет чалиться,**

**На свиданку ходить не понравится.**

**А я любила вора и любить буду.**

**Я стояла на льду и стоять буду.**

**Эх, дождь идет, ураган будет!**

**А родится сын — он жиган будет...**

И Ванька Жид, вскочив, плеснул в ладоши. И крикнул, захлебываясь от хмельного восторга:

— Давай, Чума! Топни ножкой! Спляши! Как встарь, как бывало. — Он потащил меня за рукав. — Ну?

Мне в этот момент, вы сами понимаете, было не до плясок. И я отказался, сославшись на нездоровье.

— Жаль, — пожал он плечами. И присев на краешек стола, потянулся к бутылке. — Тогда продолжим...

Ландыш поглядел на нас обоих. И спросил, подсаживаясь к Жиду:

— Вы что, давно знакомы?

— Да уж лет шесть, не меньше, — ответил, опорожнив стопку, Иван.

— Где ж это вы снюхались?

— Там, где девяносто девять плачут, а один смеется, — сказал Иван, — понял? Мы с ним чалились вместе. Сучню резали, понял?

— Ах, так... — протянул Ландыш. И повернулся ко мне. — Что ж ты, голубок, кривлялся? Почему сразу не сказал? Ты же, оказывается, наш!

"Только не твой, — подумал я, — только не твой". И я поднялся, потягиваясь. Потер ладонью лоб.

—————

\* Чалиться — сидеть, отбывать срок.

— Что-то мне, ребята, и вправду нехорошо, — проговорил я протяжно. — Голова болит... Тошно... Или выпил много? Пойду-ка подышу свежим воздухом.

И затем, уже в дверях, вполоборота:

— Ванька, — позвал я, — пройдемся, что ли? Тут от духоты угоришь.

Ландыш проводил меня подозрительным взглядом. Но ничего не сказал. Я ведь уходил не один, а с известным ему человеком.

Выйдя, мы свернули на абаканский тракт. И некоторое время шагали молча. Скрипел под сапогами гравий. Светились папироски во мгле. Ночь обволакивала нас прохладой и запахами спелых июльских трав. А в вышине, в лиловой бездне, среди обрывков летящих туч, мерцал оранжевый осколок луны. Он был косой и чуть вогнутый и напоминал наклоненную чашу.

Существует примета: если из такой "чаши" вода, по идее, может легко пролиться, то назавтра следует ожидать скверной погоды.

И погода уже начинала портиться. Где-то за Енисеем вспыхивали и гасли, словно бы подмигивали, зеленоватые зарницы, и лениво, тяжело шевелился гром. Там уже начинался дождь, и судя по всему, его несло в нашу сторону.

"Эх, дождь идет, — вспомнилось мне, — ураган будет".

Минуту спустя Ванька Жид спросил:

— Так как же ты все-таки попал сюда? Или снова решил развязать узелок?

— Да нет, все вышло случайно, из-за моей глупости. Понимаешь, я дал ему клубную машину. А он на ней провернул одно дело. Ты сам, наверное, слышал — он хвастал за столом. Ну и вот, теперь он меня шантажирует, хочет, чтоб я с ним работал. Предлагает долю.

— А ты ее не берешь, не хочешь? — усмехнулся Иван.

— Конечно.

— Ну и дурак. От грошей отказываться, зачем? Раз уж так получилось, бери, хватай.

— Нет, — сказал я, — не хочу. И не только потому, что я завязал. Со стукачами я как-то не привык общаться. Я человек брезгливый.

— Постой, — сказал Иван, — погоди!

Он ухватил меня за отворот пиджака и рывком подтянул к себе. Несмотря на то, что он славился как тонкий игрок, руки у него были широкие, короткопалые, мужицкие — все в узлах жестких жил. И держа меня, как в тисках, он спросил, сужая глаза:

— Ты понимаешь, что говоришь? Это, Чума, не шутки. Поберегись! Такими словами не балуются, за них отвечают.

— Так я готов ответить.

— Тогда выкладывай! Что тебе известно?

— Много кое-чего, — сказал я, высвобождаясь из тисков, — много...

И я медленно, стараясь не упустить ни одной детали, начал рассказывать ему обо всем, что я узнал и что понял. Он слушал меня молча, не перебивая. Потом проговорил:

— Да, Каин поторопился. Казнил Грача и оборвал все ниточки. А ведь мог бы все узнать еще год назад. Мог бы все спокойно выяснить. Но он же спокойно не умеет. Вечно пенится, психует, марафетчик чертов.

— А ты разве знаешь его? — спросил я.

— Встречал пару раз. Встречал. Он сейчас на севере, в районе Енисейска. Ну и все время шумит. Воду мутит. Ведь он, понимаешь, не просто грабит, а как бы сводит счеты с советской властью. Родители его — из раскулаченных, из ссыльных. Ну и вот...

Он загасил окурок. И добавил задумчиво:

— Власть эта наша, ясное дело, — не сахар, нет, не сахар. И я бы сам, к примеру, предпочел работать где-нибудь на Западе, на свободе. Там-то легко! Там для блатных истинный рай! Но что ж поделаешь? Родину не выбирают. И мне вообще непонятно, зачем смешивать чистое ремесло с политикой?

Мы еще потолковали так и стали прощаться. И я сказал в заключение:

— В общем, советую тебе: понаблюдай за Ландышем, когда он будет в Алтайске. Где-то там у них имеется тайная явка. Я в этом абсолютно уверен. Но мне самому следить нелегко, неудобно. Я ведь один и фигура к тому же заметная.

— Будь спок, теперь им без тебя займутся, — сказал Иван, стиснув в железном пожатии мою руку. — В Алтайске у меня есть свои ребятишки. К ним-то я и приезжал.

И он быстро, пристально взглянул на меня:

— Хочешь знать, зачем?

— Нет, нет, что ты, не хочу, — поспешно возразил я, — в моем положении самое лучшее — к тайнам не приобщаться.

— Правильно, — сказал Иван, — так проживешь без хлопот. И дольше.

### КОЕ-КАКИЕ ДЕЛА

Домой я вернулся поздно, под утро. Все уже спали в избе. Стараясь не потревожить хозяев, я заварил на кухне "чифир", густой, крепчайший чай, (такой, какой делают в Заполярье), ушел к себе и долго пил эту пахучую, терпкую жидкость. Чифир протрезвил меня. Голова очистилась, и я с предельной ясностью осознал все, что произошло.

"Ну и кашу ты заварил! — сказал некий голос, идущий из глубины души, из каких-то дальних ее закоулков; он всегда таился там и просыпался время от времени. И порою бывал беспощаден, насмешлив, презрителен. — Эх ты, доморощенный сыщик, деревенский Шерлок Холмс! Как же это ты так заловился, повис, как сазан на крючке? Позор, позор! Хотел разоблачить убийц, а в результате сам стал жертвой шантажа. И к тому же затеял сложную двойную игру — решил отомстить Ландышу. Дай Бог, чтобы твои подозрения подтвердились. Праведная месть — дело красивое, нужное. Ну, а если Иван ничего не сможет узнать? А если он вообще связан с Ландышем узами более крепкими, чем это кажется? И когда придет момент выбирать, он выберет его, а не тебя? Что тогда?"

Что тогда? — об этом мне даже и думать не хотелось. Было

страшно вдаваться в детали. Было ясно только одно: тогда будет плохо.

Я сидел в одиночестве, в полумраке. Курил папиросы одну за другой и прислушивался к ветру, шатающему ставни, и к дробному плеску начинающегося дождя.

Дождь усиливался. Изредка вспыхивали молнии, и сквозь щели в ставнях проникал синеватый, мертвенный свет. С треском раскалывалось небо над самой крышей. Гром как бы сотрясал все строение, но на хозяйской половине по-прежнему царил тишина. Там спали непробудно.

И я подумал вдруг, что вот, я принес в этот дом тишину и благополучие, дал людям спокойный сон. А сам теперь сна лишился. Мы как бы поменялись с Алексеем ролями.

Я искал какого-то решения — и не находил. И однажды я не выдержал и взмолился. Прибегнул к старому, испытанному способу. Господи, — сказал я, — я всегда вспоминаю о Тебе только в трудные минуты. Когда все хорошо, я Тебя не зову, и это, конечно, свинство. Нельзя быть таким меркантильным и мелочным. Но Ты все терпишь и все прощаешь. И Ты понимаешь все. И вот сейчас мне опять нужна Твоя помощь! Я снова поскользнулся. И на сей раз всерьез".

И, как нередко уже бывало, ситуация внезапно и круто изменилась. Нет, никаких "видений" у меня не было, и трубный глас не звучал. Просто, придя как-то утром в клуб, я увидел там письмо на мое имя, присланное из Абакана.

В письме меня официально извещали о том, что с первого июля пятьдесят четвертого года я перехожу в штат редакции областной газеты "Советская Хакассия". К извещению была также приложена записка и от самого редактора. Он хвалил мои последние материалы, среди которых особенно ему понравилась корреспонденция о больнице, о несчастных детях. (Про концерт, который я там устроил, в статье, естественно, не было сказано ни слова!) Материал этот, оказывается, был напечатан, прошел с шумом и вызвал много откликов.

Я так был удручен и замотан все последнее время, что даже и не заметил, когда, в каком номере появилась эта коррек-

понденция? Теперь я разыскал ее, прочел и тоже одобрил. Да, из меня помаленьку получился журналист!

Этот новый поворот судьбы принес мне несказанное облегчение. И хотя до конца июня оставалось еще десять дней, я решил воспользоваться случаем и бежать.

Но все же сразу, немедленно покинуть Очуры я не мог — тут у меня имелись еще кое-какие дела.

Начал я с того, что пришел в гараж и долго, старательно портил машину. Так как в моторе я ничего не понимал, (не знал, что там самое важное), я поспешил разъединить все контакты. И вообще перекарежил все, что смог.

Когда мотор превратился в кашу, я закрыл его и удовлетворенно хлопнул ладонью по радиатору.

— Прости, друг, — сказал я газику, — я не хотел тебе зла. Но ты попал в скверное общество, сбился с пути. Я и сам когда-то был такой. И мне тоже пришлось многое переламывать в себе. И я не гублю тебя, дружок, а, скорей, тебе помогаю. Хотя это все равно, наверное, малоприятно.

Потом я обтер руки паклей. И пошел посвистывая к Петру.

Мой помощник все еще лежал в постели и по-прежнему на животе.

Он лежал один. Людмила была на службе. И я заговорил без обиняков:

— Ты давно знаком с Ландышем?

— С каким еще Ландышем? — Петр довольно искусно изобразил удивление.

— Не притворяйся, — сказал я, — ты его знаешь.

— Нет, кто это?

— Помнишь, когда мы в первый раз приезжали с тобой в Алтайск, к тебе в чайной подходил высокий такой парень со стальными зубами? Так вот, это был он.

— Ну и что? — сказал тогда Петр, — если бы я даже и знал его, в чем дело?

— Стало быть, ты знаешь и его профессию. И мне интересно, что между вами общего. И с каких пор ты на него работаешь.

— Я не работаю, нет, нет, — торопливо забормотал Петр, — ты не подумай...

Пухлое его лицо задрожало, расплылось. Щеки обвисли. Глаза вышли из орбит.

— Что я, дурак, что ли влезать во все эти дела.

— Но все же твоими услугами он иногда пользовался?

— Ну — иногда.

— А, собственно, почему? С какой стати? Что вас связало?

— Да понимаешь ли, я же ему должен, — сказал кряхтя баянист, — мы ведь приехали сюда нищие, без копейки. А я хотел дом. Вот он и одолжил мне деньжонок на покупку.

— С условием, чтобы ты ему помогал, не так ли? Чтоб давал время от времени клубную машину?

— Ну, так.

— И когда ко мне приходила Клавка, это все ты подстроил?

— Да ничего я специально не подстраивал, — загорячился он. И, кривясь, потрогал забинтованную свою задницу. — Что ж ты думаешь, это тоже нарочно?

— Но все же направил ее ко мне ты!

— Да, но вышло это случайно. Я правду говорю. Она пришла, спросила. Ну, я и объяснил.

— Объяснил, что я водить не умею, что машина стоит без дела.

Я достал папиросу, размял ее медленно. И закурил. И все это время Петр лежал, молча и настороженно следя за мною.

— В общем, так. Машина теперь долго будет стоять без дела. Она испорчена, и ты не вздумай ее чинить. Я почему это говорю? Меня переводят в другое место, и ты опять остаешься здесь за директором.

— Куда ж ты?

— В областную газету. Так что отныне я много буду ездить. И сюда тоже еще заверну. И не раз. Имей это в виду. — И я посмотрел на Петра жестко, пристально, ломая глазами его взгляд. — Когда-то давно ты меня выручил, и вот теперь я говорю с тобой по-хорошему...

— Ничего себе по-хорошему! Ты же грозишь!

— Нет, предупреждаю. Есть такая притча: "Люблю блатную жизнь, но воровать боюсь". Знаешь? Она адресована прямо к тебе. Ты ведь как живешь? Как шакал. Хитришь, суетишься, подбираешь чужие крохи. Так вот, кончай, опомнись! И учти: если я узнаю, что машина починена и снова ходит, я тебя, Петька, не пощажу.

— Но как же все-таки, — несмело проговорил он, — как же без машины? — И он хотел по старой привычке подмигнуть, но лицо его ослабло и получилась жалкая гримаса. — Ведь это же техника. Цивилизация!

— Вспомни свой туалет! В здешних местах цивилизация — ненужная роскошь. От нее одни только неприятности.

\* \* \*

Окна клуба ярко светились — были зажжены все лампы. Гремела радиоло, включенная на полную мощь. И шаркали, раскачивались, вращались танцующие пары. Был воскресный, традиционный, танцевальный вечер — последний мой вечер в этом селе.

В последний раз проходил я по клубному залу, в последний раз глядел на кружащуюся толпу. С момента моего приезда сюда прошло ровно полгода. И я как-то незаметно привык к этому месту и к этим людям. Близо я ни с кем так и не сошелся здесь, но имел уже много хороших знакомых. И сейчас здоровался (а в сущности, прощался) с ними. Но пробираясь сквозь толпу, я спешил и нигде не задерживался, не застревал — я искал компанию подростков.

И нашел ее в прихожей, у вешалки. Подростки — их было пятеро — стояли там, сгрудившись, куря и поплеывая. И вид у них был какой-то развязный и одновременно унылый.

— Вы чего тут скучаете? — сказал я, — шли бы в зал...

— А чего мы там не видели? — презрительно усмехнулся один из них — вихрастый и прыщеватый.

И другой добавил:

— У нас свои дела.

— Ладно, — сказал я, — кстати, я к вам тоже по делу.

И оглядев их, спросил: — Как мне увидеть Салова?

— Какого? — спросил прыщеватый, — на селе их много, Саловых.

— Того самого, у которого отец недавно погиб.

— Ну, это я, — выдвинулся вперед невысокий, узколицый, с черной челочкой паренек. — Я Салов. Зачем вам?

— Надо поговорить, — я взял его за плечо, — пойдём-ка, что ли, на улицу.

Мы вышли и окунулись в голубую лунную прохладу. Я огляделся не спеша. И подтянув паренька поближе к себе, проговорил:

— То, что ты сейчас услышишь, передай своей матери. И никому больше. Никому! Ни единому человеку! Ты понял меня?

Он молча кивнул. И я сказал, понизив голос и четко отделив слова:

— Передай ей: о деньгах Терентия кое-кто знает. И за ними скоро могут придти. Пусть она подготовится.

— А если она спросит, кто это сказал?

— Мое имя не называй. Придумай другое. Это будет наша с тобой общая тайна. Ты умеешь хранить тайны?

— Умею.

Я знал, что ребятишкам такого возраста чрезвычайно нравятся тайны. И я был уверен в его ответе. Но на всякий случай продолжил:

— Тебе сколько исполнилось?

— Пятнадцать.

— Так. Ну, а братья у тебя есть?

— Не, я один.

— Значит, ты теперь единственный в доме мужик.

— Это мне и мать уже сказала, — сказал он. И потом: — а почему вы с ней с самой не захотели поговорить? Пришли бы к нам домой.

— Не могу, брат, некогда. Я занят, а вы живете далеко, на другом краю. Да и вообще, зачем? Ты уже парень взрослый. И мы говорим с тобой, как мужчина с женщиной.

И опять он без слов кивнул, глядя на меня снизу вверх.

В желтом потоке света, льющемся из окошка, видна была лишь половина его лица — краешек челки, скула. Глаза его прятались в тени. И там, в этой тени, я заметил блеснувшую каплю, косо и медленно поползшую по щеке.

— А кто это сделал? — спросил он внезапно зазвеневшим голосом. — Кто? Вы не знаете?

— Н-нет, — с легкой заминкой ответил я, — но ты имей в виду, за него еще отомстят. Я в это верю.

### ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ

Дела были, в принципе, закончены. Оставалось последнее: проверить отчетность и подготовить клубное имущество к сдаче.

Этим я занялся той же ночью. Я сидел, шуршал бумагами. И вдруг услышал какой-то посторонний шорох. Он шел из-за двери, кто-то там шевелился, дышал.

"Кто еще там? — насторожился я, — что за чертовщина?" Я достал и раскрыл свой ножик, спрятал его под бумагами. И крикнул затем:

— Войдите!

Дверь отворилась, и передо мною возникла женская фигура, знакомая, такая, которую я никогда бы не спутал ни с одной другой.

— Клава? — удивился я, — ты зачем?

— К тебе, — сказала она, приближаясь, — поведать. Посмотреть. Ну, и... — Она огладила ладонями, как бы обласкала, высокую свою грудь и бока. — За мной же должок!

— Все долги ты уже отдала, — нервно проговорил я, — мы в расчете.

— Но теперь это — мой личный должок, персональный.

Клава уселась, каким-то ловким, незаметным жестом подтернув юбку. Слегка раскинулась на стуле и положила ногу на ногу.

— Сколько бумаг, — проговорила она, озирая стол, — все пишешь, пишешь. Не скучно?

— Что поделаешь, — сказал я, — надо. И, прости, я очень занят.

Она улыбнулась, опустив пушистые ресницы. И вдруг рывком расстегнула свою кофточку. И обнажила грудь...

И сейчас же я сказал:

— Закройся!

Нет, я вовсе не пуританин. Дело тут было в другом. Я знал свою слабину и не хотел поддаваться Клавке. И разве же мог я устоять...?!

Я видел тугую грудь ее и круглые, чуть раздвинутые и высоко открытые колени — не мог всего этого не видеть! — и невольно шарил там взглядом. И презирал себя за это. И мысленно проклинал ее.

И чем больше проклинал ее, тем сильнее хотел...

Это было как бред, как наваждение.

И она, безусловно, чувствовала, что со мною творится. (Какая женщина этого не угадывает?) Но все же была она сейчас не такой победительной, уверенной в себе, как раньше. Наоборот, во всем ее облике проскальзывало что-то смятенное, растерянное, даже робкое.

Конечно же, она понимала, что я не забыл нашу прошлую встречу, и вечер в ее доме, и разговор с ее братом, Ландышем. И, судя по всему, боялась, что я теперь напомню ей обо всем.

И я напомнил.

— Так ты действительно была убеждена, что я ручной? Что из меня веревки вить можно?

— Ах, ты не так понял.

— Я все понял точно. Но скажи: откуда у тебя вообще такая уверенность?

— Ну, не знаю. Я так привыкла. Все мужики, которых я встречала, они и вправду были ручные.

— Например, Васька-Грач?

Она посмотрела на меня косым своим, странным, скользким взглядом и ничего не ответила. Прикусила губу. А я продолжал:

— Из каждой веревки, которую ты ухитришься свить, получается затем петля. Сколько людей попало в такую петлю

из-за тебя? А? Интересно! Скольких ты, падло, уже угробила? Счет у тебя, наверное, большой. В одних только Очурах — сначала был Грач, потом эти спекулянты. И я тоже стоял на очереди.

— Но я не нарочно, — сказала она, всхлипнув, — это я для брата. Он просил, и я делала.

— Что ж ты, такая уж дурочка, что ни разу не поняла, в чем тут дело? И чем это все кончается?

И снова она промолчала в ответ.

— Тебе, очевидно, нравилось ощущать свою власть над дураками, испытывать свою силу, не так ли? Ты думала, что это все. — Я оглядел ее с головы до ног. — Это неотразимо?

— А разве это все можно не любить? — искренне удивилась она.

— Не знаю. Наверно, можно. Как видишь, сейчас это не действует.

— Но я же все равно тебе нравлюсь. Я вижу. И давай забудем обо всем прочем.

— Думаешь, это легко?

— А к чему вспоминать в такую минуту?

— Но чего ты, собственно, хочешь?

— А ты не соображаешь?

— Догадываюсь. Но мне одно неясно: какую роль ты сейчас играешь? Ты же ведь баба деловая, зря ничего не делаешь. Зачем это тебе?

— А ни за чем. Просто так, — повела она полуоткрытым плечом, — по-честному. Ты мне тоже нравишься.

— С каких это пор я стал тебе нравиться? — пробормотал я.

— Немножко даже с самого начала. Но тогда я тебя не знала, думала, ты фрайер, порчак.\* А ты, оказывается, наш!

— Да какой я ваш? Какой ваш? Вот еще чепуха! Не смешивай, пожалуйста.

— Ты, конечно, не похож на других, и это-то меня и волнует! Что-то есть в тебе особое.

\* "Порчак" — презрительное определение фрайера, от корня — "порченный", "гнилой". То-есть, фрайер последней степени.

— Ни черта во мне нет, — сказал я, — и если я, как сазан, сначала поймался на твой крючок, то я ничем не лучше всех других сазанов. Такой же был идиот. Но ты-то, ты-то! Ведь ты же красива. Неужто ты не понимаешь? Очень красива! И живи ты иначе, какая у тебя могла бы быть завидная судьба!

— Судьба у меня одна, — сказала она, неловко, прыгающими пальцами застегивая кофточку. — И другой не будет. Даже если бы я и хотела изменить ее, что я могу? Что я могу? Вот пришла к тебе, а ты меня гонишь.

— Да я не гоню.

— Но и не принимаешь по-настоящему, не хочешь меня. Не веришь! А я думала у тебя остаться...

— Эх, Клавка, Клавка, — сказал я, — все так сложно. Ну, как тебе верить? Ты же замешана в страшных делах. И что вообще творится в твоей душе, если она у тебя, есть?

Медленно, очень медленно Клава поднялась, оправила на себе одежду. Нежное, с высокими скулами лицо ее было полуопущено. Прелестный рот плотно сжат. И у края губ обозначились две синеватые морщинки.

— Ну, я пойду, — сказала она, — прощай.

И я посмотрел ей вслед с жалостью, с горечью, с безотчетной тоской. Я чуть было не поддался порыву — позвать ее, остановить. Ведь какая женщина уходила! Но все же сдержался, переломил себя.

Нет, я все же не верил этой чалдонке и не хотел с ней связываться. Любой контакт с ней был по-настоящему опасен. Должен сказать, что за всю мою бурную жизнь мне почти не встречалась еще личность, столь загадочная и хищная, и с такой отчетливо выраженной уголовной психологией. И я, естественно, ожидал сейчас какого-то нового подвоха. Клавка была верной помощницей Ландыша, они работали на пару. И она наверняка приходила по его поручению. Ведь тогда, на малине, Ландыш дал мне сроку одну неделю, а с тех пор прошло уже две...

## К ВЕРХОВЬЯМ ЕНИСЕЯ

На следующий день я уезжал. Опасаясь Ландыша, (который мог попытаться перехватить меня и выкинуть неожиданный фокус), я заранее сговорился с шофером почтового фургона, курсирующего между селом и райцентром. Фургон должен был ждать меня рано утром в глухом переулке, на довольно далеком от клуба расстоянии.

Провожал меня Алексей. Было тихо, сумеречно, свежо. День еще только начинался, и небо было затянуто зеленой светлой мглой. И по зеленому этому полю, далеко за селом, протекла, протянулась полоска зари. На ее ярко-красном фоне черно и четко выделялись силуэты сосен и крыш, и низко кружащихся птиц. И глянув туда, Алексей спросил, позевывая:

— Ты как до Абакана добираться думаешь — самолетом?

— Конечно. Если достану билет.

— Смотри, будет ветер.

— Плевать. Главное — побыстрее!

— Завидую я тебе. — Он вздохнул. — Новые места... Новые люди...

— Так и ты беги! Что тебя здесь, в конце концов, держит?

— Да я бы с радостью, — проговорил он задумчиво. — Только мать бросать жалко. Мы уж говорили. Она никуда не хочет! Здесь, твердит, мой дом, и здесь я и помру, и желаю, чтоб ты меня похоронил над Енисеем. А года ведь у нее не малые. И здоровье плохое. Нет, куда уж там! Пока она еще жива, я остаюсь в проклятых этих Очурах. Вот скоро начну работать.

— Что? — сказал я быстро, — работать? Ни в коем случае.

Он посмотрел на меня с изумлением.

— Да, да, — сказал я, — о работе и не думай. Пойми, чудак, кода оставила тебя в покое только потому, что ты болен. И, стало быть, не опасен.

— А чем я вообще могу быть ей опасен?

— Ты друг Грача! А Грач, имей в виду, был действительно, виновен. Так уж получилось... Это во-первых. И во-вторых,

ты для кодлы все равно уже потерян, а знаешь много, слишком много! Но пока ты ходишь "в чокнутых", — это нестрашно. С психа какой спрос? Словам его веры нет. Однако стоит тебе выздороветь, выйти на работу, и все сразу изменится! Учти: Каин хоть и ушел отсюда, но связь со здешними имеет.

— Так что же, — пробормотал он в замешательстве, — я, значит, теперь обречен.

— Да. До тех пор, пока ты в Очурах. Уедешь, переменишь место — другое дело. Но здесь ты — законный псих. И таким и должен оставаться.

— Но врач-то ведь все понимает, его я не смогу обмануть.

— Сможешь! Он-то как раз считает, что ты еще не вылечился полностью. Воспользуйся этим.

— Что ж я должен делать?

— Ну, что? Придумай что-нибудь! Ходи по селу и изображай кипящий чайник.

\* \* \*

В Алтайск я прибыл в ту самую пору, когда люди выходят на работу, когда открываются магазины и всякого рода забегаловки. Велев шоферу остановиться у базара, я слез, попрощался с ним. И направился в "Чайную". Она была еще тиха, чиста и пустынна. Только один человек успел придти сюда раньше меня. Он сидел неподалеку от входа, за угловым столиком. И при моем появлении привстал и поманил меня к себе.

Это был старший лейтенант милиции Хижняк.

В одной руке Хижняк держал рюмку водки, в другой — зажженную папиросу.

— Вот уж не думал, — сказал я ему, — что работники органов так начинают рабочий день.

— Они начинают по-всякому, — ответил тот, — и так тоже неплохо. Почему бы и нет? В Одессе шутят: "Тот, кто пьет с утра, — чувствует себя как король". Понимаете? Все вокруг суетятся, спешат делать карьеру, и только ему одному спешить некуда. Он уже всего достиг. Он уже на вершине блаженства.

Хижняк произнес это с усмешкой. Он пробовал шутить. Но вообще-то выглядел он неважно и казался еще более усталым, чем обычно. Лицо его осунулось, под глазами обозначились темные круги.

— И вы уже достигли блаженства?

— Пока еще нет, — ответил он, — попробуем достичь вместе. Присаживайтесь, наливайте.

И я охотно присел, и налил, и выпил. И потом, похрустывая свежим лучком (знаменитым, местным, "золотым!"), я спросил:

— Что же с вами все-таки случилось? Видик у вас, должен признаться, такой, будто вы пьянствуете по меньшей мере вторые сутки.

— Вторые сутки не сплю, — сказал он. — Замотался вконец. Вот сейчас вернулся с операции и почувствовал: надо выпить. Иначе помру.

— Так в чем же дело? Если не секрет...

— В чем дело? — Он посмотрел на меня в упор. — Ну, что ж, вам я могу сказать. Но это уже не для печати. Дело в том, что мы потеряли ценнейшего нашего агента. Ценнейшего! Такого провала давно уже не было. Помните, мы как-то говорили про одного здешнего жигана?

— Очевидно, вы имеете в виду этого вашего "блатного Азефа"? — проговорил я с перехваченным дыханием. — Но что значит "потеряли".. Он бежал? Исчез?

— Нет, найден убитым.

— Когда?

— Позавчера. Здесь, на окраине, на пустыре, есть овраг. И вот там мы его нашли. Что с ним сделали! — Он на мгновение зажмурился. — Экспертиза установила, что они заставили его есть собственное свое мясо.

Он умолк. Возникла тяжкая тишина. Я попробовал представить себе эту сцену. И не смог, почувствовал дурноту.

— Это не люди, — хрипло сказал Хижняк, — это звери. Даже хуже! Здешние места вообще считаются самыми трудными. И я это знал, когда меня направляли сюда. Но такого я все же

предвидеть не мог. Я как бы попал в дикий, темный, какой-то пещерный мир.

Он налил себе рюмку доверху, через край, расплескивая по скатерти водку. И опрокинул ее в горло одним толчком. И, наморщась, задымил папиросой.

Какое-то время мы сидели так, думали каждый о своем. Потом Хижняк сказал:

— В общем, хорошо, что мы встретились. Я как раз о вас думал.

Это мне не понравилось. (Не люблю я, когда милиция начинает обо мне думать). И я сказал, настораживаясь:

— Мерси. Но собственно, почему? В связи с чем?

— В связи со всеми этими обстоятельствами.

— А какое я имею к ним отношение? — забеспокоился я. — Причем тут я, клубный работник, журналист?

— Не волнуйтесь, — махнул он рукой, — я вовсе не собираюсь подозревать вас в убийстве Ландыша. Назовем его теперь прямо, в открытую. Ведь вы его знаете.

— Откуда вы это взяли?

— Ну, как же, как же! Вы знакомы с его сестрой, Клавой, и бывали уже в их доме.

— Да, знаком. Но что это меняет? С ней многие знакомы.

Он между тем продолжал, как бы не слыша меня:

— И вообще у вас контакты всюду, со всеми. В пещерном этом мире вы чувствуете себя на редкость свободно, легко.

"Легко! — подумал я, — побывал бы ты в моей шкуре".

— Впрочем, — заметил он тотчас же, — это не удивительно, если вспомнить ваше прошлое.

— А что вы знаете о моем прошлом?

— Все, дорогой мой, все! У меня теперь имеется ваше досье. Довольно обширное и, признаться, весьма любопытное.

Я понял — выкручиваться бесполезно. И сказал, с трудом выдавливая из себя улыбку:

— Ну, хорошо. Вы знаете прошлое. Но ведь это то, что прошло. Это все позади. Зачем вам понадобилось мое досье? И, кстати, когда вы его раздобыли?

— Да сразу же после вашего второго посещения, — сказал

посмеиваясь Хижняк. — Вы тогда предстали как живой укор мне — профессиональному криминалисту. Вы прошли по тем путям, по которым должен был пройти я сам. И были еще кое-какие детали. Например, фразочка, которую вы произнесли о Граче, помните? "Сыграл на два метра под землю". Это же чистая черноморская феня\*. На меня сразу пахнуло Одессой. И вообще, восстановив потом в памяти весь наш разговор, я отметил, как вы весьма умело и ловко его направляли. Не знаю, чего вы добивались, какую цель преследовали. И, думаю, что, если я даже и спрошу, вы все равно мне не скажете. Может быть, вы играли в сыщика? Не знаю. Но, как бы то ни было, вы меня искренне заинтересовали. Я затребовал из управления ваше досье, и все прояснилось.

— Ну и что же в итоге?

— Могу вам только одно сказать: вы как раз такой человек, который нам нужен! У вас богатый опыт, хватка, сообразительность. Раз вы пишете, значит, умеете анализировать и связывать факты. И, кроме того, у вас есть одно очень важное преимущество перед всеми нами. — Он похлопал себя по пуговицам форменного кителя. — Перед такими, например, как я сам.

— Это какое же преимущество? — с интересом спросил я.

— Я считаюсь неплохим специалистом, — медленно сказал он, — потому меня, собственно, и прислали сюда. Преступный мир я знаю. Но все же знаю односторонне. Всю жизнь я находился как бы по одну сторону стола, а блатные — по другую. Контакт наш заключался в том, что я спрашивал, а они отвечали. И этот барьер, разделяющий нас, почти непреодолим. Ну, а вы в течение долгих лет пребывали именно "на той стороне". И вам, естественно, вполне понятно все, что там происходит. Ясны все те психологические зигзаги, которые мне недоступны.

— Так вы к чему клоните? — спросил я, — хотите, чтобы я работал у вас?

---

\*Феня — блатной жаргон. Он произошел от тайного языка "офень", которым пользовались бродячие торговцы в средневековой России — создатели первого в русской истории черного рынка.

— Ну, да. Ну, да. Идите к нам! Я предлагаю вам серьезную, важную работу.

— Нет, — сказал я, — извините, конечно, но такая работа не по мне.

— Почему? — прищурился он.

— Если вы изучали мое досье, вы должны понять. Да, я был блатным, это верно. Но как я попал на дно? Когда моя жизнь сломалась? Все началось в тридцать седьмом году, в ту пору, когда люди в вашей форме наводили ужас, олицетворяли собою террор. От этого террора погибли и разрушились тогда миллионы семей. В том числе и моя... А теперь вы хотите, чтобы я эту форму надел?!

— Причем тут форма? — торопливо возразил Хижняк. — Далась вам эта форма. Суть вовсе не в ней. И я приглашаю вас не в КГБ, не в политическое, так сказать, учреждение — отнюдь! У вас имеются, как мне кажется, все данные для того, чтобы стать незаурядным работником уголовного розыска. Так станьте им! И поймите в конце концов, что криминалистика — это такая же наука, как всякая другая. И борьба с преступностью — дело нужное, благое, служащее обществу и существующее при любых системах.

— Может быть, вы и правы, — сказал я, — может быть... Хотя, конечно, наш угрозыск несколько отличается от зарубежного — он гораздо ближе к политике. Но главное в другом. Существует еще одна, пожалуй, самая веская причина, мешающая мне согласиться.

— Какая?

— Я просто боюсь.

— Вот не ожидал, чего же?

— Вы сами знаете, как уголовники мстят своим за предательство.

— Но ведь вы для них уже не свой.

— Конечно. Но и не совсем посторонний. Все-таки бывший вор! К таким, как я, предъявляется особый счет. И я не хочу, чтобы меня однажды заставили есть свое собственное мясо.

Пока мы толковали, чайная постепенно обретала обычный свой облик. Наполнялась топотом, шумом, гомоном голосов.

Под потолком поплыли свиваясь волокна сизого табачного дыма. Где-то рядом рухнул стул, задребезжала посуда. Я глянул на часы и встал.

— Уже десять, — сказал я, — пора. Пойду. Хочу к обеду успеть попасть в Абакан.

Мы пожали друг другу руки. И я потащил из-под стола свой багаж. И, покосившись на него, Хижняк спросил:

— Надолго?

— Думаю, навсегда. Как видите, нам вместе блаженства не достигнуть. Не судьба!

— Но вы и там, в Абакане, подумайте над моими словами. Хорошенько подумайте!

Я пошагал, протискиваясь меж столиков. А он остался и покуривая продолжал глядеть мне вслед. Черт его знает, о чем он думал. Наверное, что-то подозревал, о чем-то догадывался. Или же просто был огорчен, раздосадован тем, что ему не удалось меня завербовать. Он же был вербовщик классный, профессиональный, а тут вдруг такая осечка!

И пока я шел к выходу, я все время чувствовал на себе его взгляд.

\* \* \*

Час спустя я уже сидел в кабине небольшого старенького самолета. Рассчитана была эта машина на десять человек, но набилось в нее много больше. И я сидел в тесноте, (у окошка). И в левый мой бок упиралась остроугольная корзина, а справа, вплотную ко мне, сидел громоздкий бородатый мужик. Он о чем-то толковал со своим приятелем и размахивал руками. Голос у него был хриплый, пропитой. Я невольно прислушался к этому хрипу и уловил слово "овраг".

В маленьких провинциальных городках все всегда всем известно. И слух о найденном в овраге на пустыре трупке докатился уже и сюда.

Однако теперь сцену чудовищного этого убийства я даже и не пытался вообразить себе. Самолет сильно болтало — было тошно и без того.

И внезапно я вздрогнул, словно бы очнулся от забывья. Я подумал о Клаве. Она явилась ко мне в ночь с воскресенья на понедельник. А Ландыш был убит в субботу. Стало быть, она уже знала об этом. Она знала. И в растерянности, в панике прибежала ко мне. Она искала защиты, помощи, какого-то утешения, и если и пыталась соблазнить, то вовсе не для игры, а потому, что это был ее последний, единственный шанс. А я, дурак, не понял...

Ничего не понял! И дал ей уйти одной — в ночь, в темноту... Что ее ждало в этой тьме? И каково ей сейчас?

Я дернулся, привстал. Снова сел. И голос, пришедший из глубины, сказал: "Ну что ж, теперь уже поздно. Это все позади."

"Пожалуй... Но — жалко!"

"О чем жалеть? У вас все равно ничего бы не получилось. Вы слишком разные, совсем чужие. Помнишь, твои рассуждения о Двух Уровнях жизни? Так вот, она даже не из сумерек, а из еще более мрачных глубин".

"И все же она приходила ко мне просить помощи."

"Она и в первый раз, в связи с машиной, тоже приходила просить помощи."

"Но может, ее нужно сейчас спасти?"

"Главное, от чего ее надо было бы спасти — от нее самой. Но это тоже уже поздно".

"Но какая это женщина! Впервые за многие годы я встретил такую красоту."

"Эта красота — лучшая ей защита и утешение. И не дергайся, успокойся. Вспомни законы севера, законы собачьей стаи: чужого кобеля стая рвет на клочки, но самку никогда не тронет. Никогда!"

"Но здесь — другие законы. И, как заметил Хижняк, здешние даже хуже зверей!"

"Что — Хижняк. Он просто растерян, ему все внове. Но ты-то знаешь, что законы здесь те же самые. И Клава не пропадет, вывернется как-нибудь. А вот ты благодари судьбу, что сидишь сейчас в самолете!"

Так я спорил сам с собою, и маялся, и томился. А за стеклом иллюминатора плескался ветер, и внизу широко зеленела тайга. Она была испещрена желтыми полосами дорог, пестрыми пятнами селений и перерезана густо-синевой лентой реки.

И по этой яркой земле — по синеве и по зелени — скользила крестообразная тень самолета.

Крошечный этот крестик стремительно уносился к Югу, к верховьям Енисея, — все дальше от сумеречных Очур, от горького золота... Все дальше и дальше. Все дальше и дальше.

**"РУССКАЯ МЫСЛЬ"**  
**"LA PENSEE RUSSE"**

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза.

**"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой.**  
**Распространитель: "Атлас", ул. Членов, 49, Тель-Авив.**  
**Цена в розничной продаже - 8 лир. Газета продается в магазинах русской книги и киосках станы.**



В ИЗРАИЛЕ И ПАРИЖЕ ПРОДАЕТСЯ В МАГАЗИНАХ РУССКОЙ КНИГИ. В ГЕРМАНИИ - В АГЕНТСТВЕ НЕЙМАНИСА. В США - РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ Э. ШТЕЙН.

7 Miles Ave, Woodbridge, Conn. 06525 t. (203) 381-05-97 USA.

## КАК ФРАЗА РИМСКОГО ЛЕГИОНЕРА

Во время смятения, бесконечной сумятицы, гонки за модой, за оригинальностью, во время технической изощренности и суперновейших материалов, во время непрерывной детализации ощущений, придумывания систем /каждая из которых, претендует на окончательное решение вопросов искусства/, во время бесконечной суеты и ожесточенного проталкивания на Олимп, немногие сохранили достоинство и спокойствие мастера, делающего свое дело с уверенностью ремесленника и с открытыми глазами ребенка. Очень и очень немногие живут не в мире рекламы, мире удушающего самовыворачивания, мире художественной индустрии, а в мире, где растут деревья, светит солнце, стоят дома, в мире, освященном прикосновением человека.

В этом номере вы увидите работы трех ленинградских художников, чье творчество, на мой взгляд, дает основания говорить о них, как о мастерах, идущих по непростому и благородному пути отказа от погоны за модой, суперновизной, по пути серьезного и честного осмысления жизни.

Один из них — Рихард Васми. Его живопись "проста и лапидарна, как фраза римского легионера". Его цвет плотен, локальные пятна, расположенные в четкой гармонии, заключены в жесткую, конструктивную обводку, как бы утверждающую порядок и строгий ритм картины. Но при всей, казалось бы, незамысловатости исполнения, техники, сюжета, его картины свободны и просты свободой и простотой аристократа. Незатейливый мир улиц Петроградской стороны, мир людей, живущих в темных комнатах огромных коммунальных квартир, мир обычных предметов: банок, кофейников утверждены в работах Васми с силой, мудростью и ясной открытостью миру, заставляющих вспомнить античную живопись.

Искусство Александра Манусова, весьма камерное по характеру, исполнено некой ностальгии, столь характерной для творчества многих российских художников-евреев. В работах А. Манусова нет и помина эпики, столь присущей творчеству Р. Васми. Картины Манусова — это сгусток щемящей лирики, прорывающейся через внешний традиционный характер построения картины. Практически, Манусов разрабатывает все время один и тот же сюжет: семья. В обостренном интересе к нескольким людям, связанным вместе узами родства и любви, ищущим в союзе друг с другом защиты от враждебного внешнего мира, звучит пронзительная нота тоски по простым человеческим чувствам, обычаям, ушедшим в прошлое, по налаженному традиционному быту с его субботними свечами, совместными трапезами и беседами. Не случайно и обращение к традиционной многослойной технике, так, что самая поверхность картин корреспондирует с внутренним смыслом холста. Тихий, вдумчивый голос его картин напоминает нам о ценностях, утратив которые, мы можем утратить важнейшую часть нашей жизни.

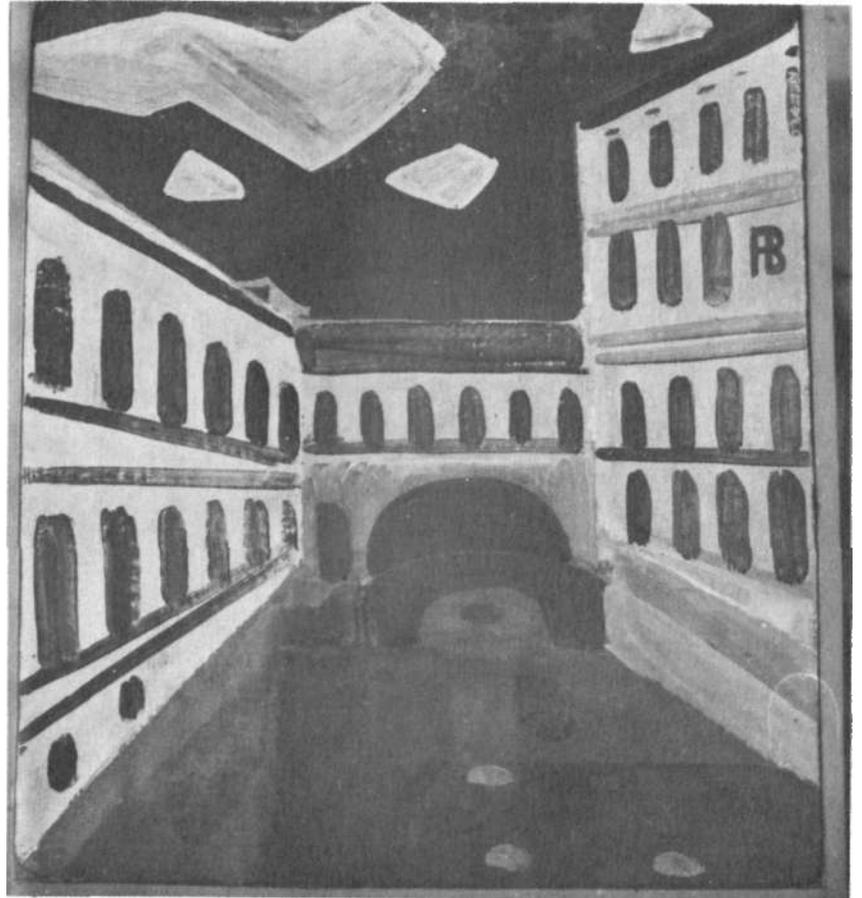
Совсем недавно покинула Ленинград Татьяна Подгаецкая. Работы, помещенные в этом номере, представляют ранний период творчества художницы. Они лежат в русле экспрессионизма, характерного, кстати, для творчества многих ленинградских художников. Сфера интересов Т. Подгаецкой находится также, как у Манусова, в области жанра, но в отличие от поэтизации быта, как это имеет место у Манусова, у Подгаецкой быт трагичен. Это мир, где смерть человека лишена философических покровов, где люди мрут, как животные, а животные умирают, как люди, это чудовищный удушающий мир комодов, фикусов, клоповных кроватей... Но есть еще улица, есть чистый холодный воздух, в котором шумят ветви деревьев. Есть зеленая вода Крюкова канала, есть голубой Никольский собор и золотые листья, шуршащие по булыжной мостовой набережных Мойки...

Три художника. Три очень разных художника. Но есть то, что объединяет их. Это талант. Это мастерство. Это искренность художественного переживания. Это честность перед самими собой и миром, в котором они живут. Это честь, и достоинство человека, сохраненные и отстаиваемые в сегодняшнее, такое непростое время.

*Александр ПЕРЧ*

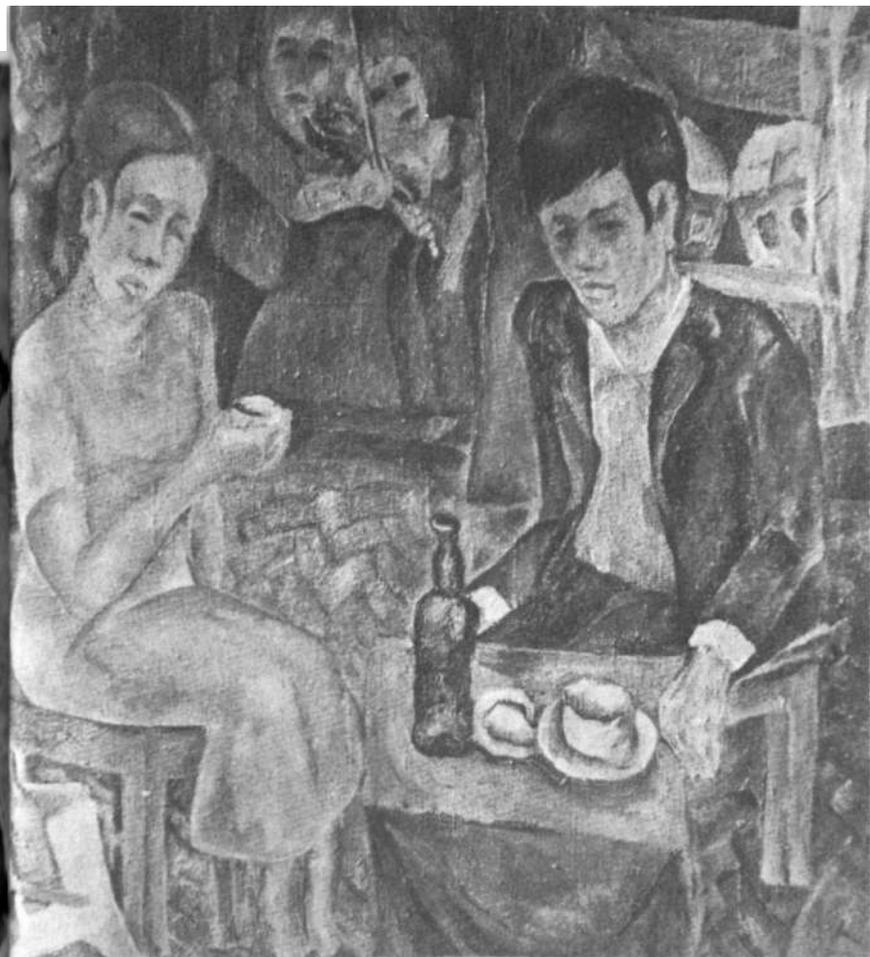


Р. Васни "Вокзал"

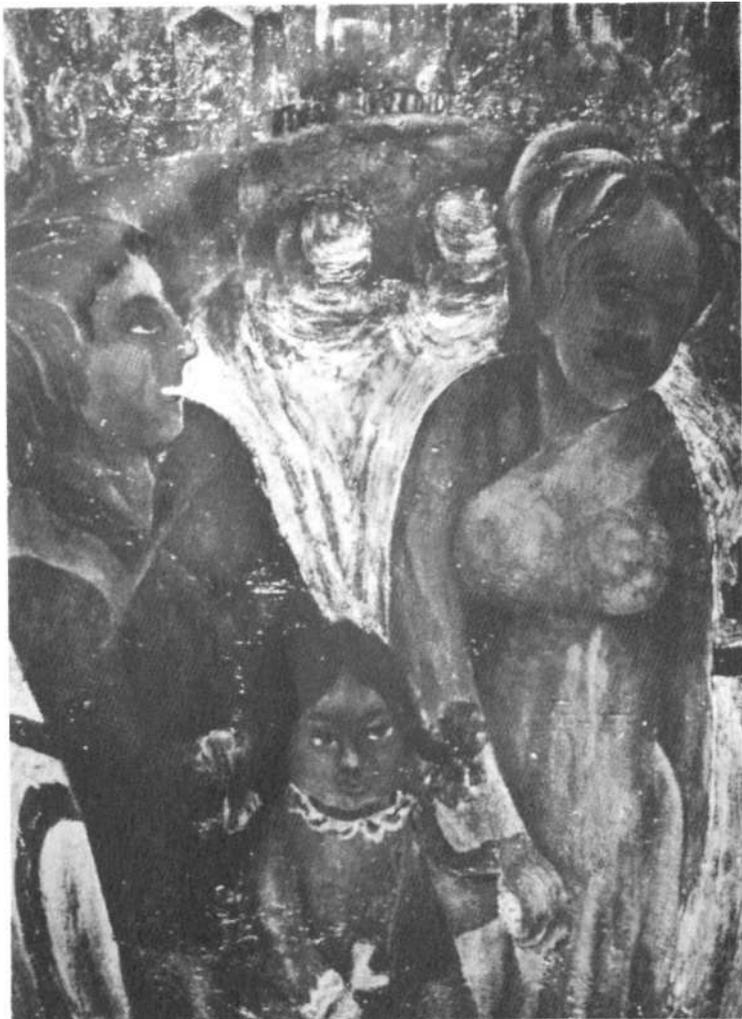


Р. Васни "Зимняя канавка"

А. Манусов "Застолье"



А. Манусов "Вечер"



А. Манусов "Прогулка"



Т. Подгвоцкал "Деревенский пейзаж"



Т. Подгэцкая "Похороны"

# ВРЕМЯ И МЫ-1980год

Ко всем подписчикам и читателям журнала

Начиная с января 1980 года журнал "Время и мы" начинает издаваться как международный журнал литературы и общественных проблем с тремя центрами: в Тель-Авиве, Нью-Йорке и Париже. В связи с этим, естественно, расширится тематический круг журнала так же, как круг его авторов. На страницах журнала в 1980 году мы планируем публикацию лучших прозаических произведений самиздата. Предполагаются выступления Белля, Гольдштюккера, Виктора Некрасова, публикация воспоминаний Самуила Микуниса, писем Милюкова и Леонида Андреева, материалов процесса Кравченко (автора книги "Я выбрал свободу"). Мы предполагаем напечатать отрывок из воспоминаний Кирилла Хенкина "Мой друг полковник Абель", цикл эссе Льва Наврозова "Запад и посредственность", рассказы и повести Александра Тучкова, американские рассказы Аркадия Львова, статьи и эссе Ефима Эткинда, Льва Копелева, Доры Штурман. Таким образом, журнал и дальше будет продолжать свою линию независимого гуманистического издания широкого профиля, на страницах которого найдут выражение любые взгляды и точки зрения, независимо от национальной, политической или религиозной принадлежности автора.

В связи с тем, что журнал "Время и мы" является беспартийным, независимым и никем не субсидируемым изданием, мы надеемся на более эффективную экономическую поддержку наших читателей. Поэтому наряду с обычными условиями подписки для тех, кто хочет помочь журналу и располагает соответствующими возможностями, предлагаются несколько более высокие подписные цены.

Установлены следующие цены предварительной подписки на 1980 год:

**В ИЗРАИЛЕ:** на год — 1300 лир, на шесть месяцев — 780 лир. С целью экономической поддержки журнала — 1500 лир и 850 лир. (Оплатить подписку можно в три чека, последний не позднее января 1980 года).

**В США и КАНАДЕ:** на год — 48\$, на шесть месяцев — 24\$. С целью экономической поддержки журнала — 60 и 30 (авиапочта — 96).

**Во ФРАНЦИИ:** на год — 220F.FR. на шесть месяцев — 110 F.FR. С целью экономической поддержки журнала 270 и 130 (авиапочта—370)

**В ГЕРМАНИИ:** на год — 92 DM, на шесть месяцев — 46 DM. С целью экономической поддержки журнала — 115 и 56 (авиапочта — 185).

# "ВРЕМЯ и МЫ" — 1980 год

## ПОДПИСКА В ИЗРАИЛЕ НА 1980 ГОД

Сроком на 6 месяцев  
на 12 месяцев

Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись ..... Дата .....

\* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по русски — и высылается по адресу: P.O.B. 24123. Tel Aviv

## ПОДПИСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ НА 1980 ГОД

Авиапочтой ..... сроком на 6 месяцев  
Обыкновенной почтой ..... на 12 месяцев

Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек ..... ,.....

Подпись ..... Дата .....

\* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по-русски — и высылается по адресу: P.O.B. 24123, Tel-Aviv, Israel



# КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

**Аркадий ЛЬВОВ.** Писатель. Учился в Одесском университете. В 1946 году был исключен с мотивировкой: за клевету на советский народ и еврейский буржуазный национализм. Лишен был права продолжать учебу в высших учебных заведениях, в дальнейшем, однако, добился возможности закончить университет.

По окончании университета работал в средней школе преподавателем истории и русской литературы. Опубликовал в СССР шесть книг, кроме того, в журналах, альманахах и газетах — более 200 рассказов, очерков, статей. В настоящее время живет в Нью-Йорке.

**Дмитрий МАЛКИН.** Писатель, по образованию — инженер. Родился в 1938 г. в Ленинграде. Печатался в детских журналах. По ленинградскому телевидению шли две его пьесы и несколько передач, поставленных по его сценариям.

С 1979 г. живет в Израиле.

**Илья БОКШТЕЙН.** Поэт. Родился в 1937 году в Москве. Учился в Институте культуры. В августе 1961 года был арестован за публичные выступления на площади Маяковского. Отбыл в лагере пятилетний срок. В Израиль приехал в феврале 1972 года. В Советском Союзе Илья Бокштейн не публиковался, а в Израиле его стихи печатались в журнале "Сион", "Время и мы" и др.

**Марина ГЛАЗОВА.** Филолог по образованию, поэт и переводчик. В эмиграции с 1972 года. Живет в Соединенных Штатах. Печаталась в журнале "Континент" и других русских зарубежных изданиях.

**С.В. МЕЛЬНИКОВ.** Статья С.В. Мельникова пришла по каналам самиздата, и биографические данные автора неизвестны.

**Эмиль КОГАН.** См. в журнале № 46.

**Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ.** См. в журнале № 42.

**Семен ЛИПКИН.** Родился в 1911 году в Одессе. Поэт, поэт-переводчик, в Союзе писателей с 1934 года, друг А.Ахматовой. Перевел: калмыцкий эпос "Джангар", киргизский эпос "Манас", кабардинский эпос "Нарты", поэмы А. Навои, Фирдоуси, а также стихи тюркоязычных поэтов и поэтов, пишущих на фарси.

**Ефим ЭТКИНД.** См. в журнале № 46.

**Раиса ЛЕРТ.** Биографические данные Р. Лерт излагаются в ее очерке "Поздний опыт".

**Михаил ДЕМИН.** См. в журнале № 46.

---

**В РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ"**

*В состав редколлегии журнала "Время и мы" вошли писатели Виктор Некрасов и Лев Наврозов. Удовлетворена просьба Галины Келлерман и Дмитрия Сегала о выходе из редколлегии.*

---

## ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ

29 сентября 1979 г. состоялась встреча группы эмигрантов из СССР, собравшихся в Вашингтоне в связи с проведением 3-й сессии Сахаровских слушаний. Встреча была продолжена в Нью-Йорке 3 октября 1979 г.

В ходе состоявшегося обмена мнениями все участники встречи согласились о следующем.

Принцип индивидуального морального противостояния действиям властей, систематически нарушающих права человека, играл и продолжает играть исключительную роль в развитии и укреплении правозащитного движения в СССР. Исходя из этого принципа многие из участников правозащитного движения относились неодобрительно к идее создания какой-либо широкой организации.

Однако, в совершенно ином положении находятся участники правозащитного движения, вынужденные эмигрировать из СССР и лица, поддерживающие их деятельность. Для них, не находящихся в условиях непосредственного противостояния репрессивной власти, отказ от объединения и координации своей деятельности приводит лишь к распылению усилий, к снижению эффективности их действий. Сейчас, когда правозащитное движение в СССР стало важным фактором во внутреннем положении страны и получило международное признание, когда за пределами СССР находится большое число лиц, активно действующих или желающих действовать в направлении изменения нынешней ситуации с правами человека в СССР, какая-то координация их действий стала назревшей необходимостью. Участники встречи заявили о своей готовности работать в направлении создания объединения, способствующего такой координации.

Пока еще рано говорить о деталях устройства и функционирования намечаемого объединения. Они могут быть выработаны лишь в результате широкого обсуждения заинтересованными лицами. Однако, уже сейчас было сочтено бесспорным, что важнейшей целью должно быть создание в СССР ситуации, при которой провозглашенные в Декларации ООН права человека были бы обеспечены в полном объеме без каких-либо ограничений или дискриминационных изъятий.

Участники встречи согласились также, что участие в предполагаемом объединении не должно никоим образом затрагивать обязательств, связанных с участием какого-либо лица в других, не столь широких политических, религиозных, национальных или иных объединениях. Максимальная терпимость и плюрализм должны быть основополагающим принципом создаваемого объединения. Наличие внутри правозащитного движения самых различных идейных группировок и направлений является его важнейшим историческим достижением и ни в коем случае не должно быть утрачено.

Участники встречи признали необходимым опубликовать настоящее сообщение и вынести на обсуждение вопрос о возможности создания и характере предполагаемого объединения.

Для практического осуществления такого обсуждения и проведения подготовительной работы участники встречи признали необходимым иметь трех координаторов для трех основных регионов:

Для Америки: Людмила Алексеева (Ludmilla Alexeyeva, 293 Benedict Avenue, Terrytown, N.Y., 10591, USA).

Для Европы: Кронид Любарский (Cronid Lubarsky, Wolfpratshauer Str. 68/III, 8000 Munchen 70, BR Deutschland).

Для Израиля: Эдуард Кузнецов (Edward Kuznetsov, 88/19, Machanaim Str., Tel-Aviv, Israel).

Координаторы не наделены иными полномочиями, кроме как поддержания деловой связи между лицами, желающими принять участие

в совместных действиях, и взаимное согласование подготовительной работы, проводимой в разных регионах.

Все лица, независимо от их гражданства или иного юридического статуса, разделяющие сформулированные выше общие принципы и желающие конструктивно содействовать нашим усилиям, приглашаются принять участие в предварительном обсуждении вопроса и прислать свои соображения по одному из указанных адресов или выступить в печати.

Людмила Алексеева /Территаун, США/  
Виктор Балашов /Вашингтон, США/  
Борис Вайль /Копенгаген, Дания/  
Людмила Вайль /Копенгаген, Дания/  
Томас Венцлова /Лос-Анжелес, США/  
Арий Вернер /Кельн, ФРГ/  
Александр Гинзбург /Кавендиш, США/  
Зинаида Григоренко /Нью-Йорк, США/  
Петр Григоренко /Нью-Йорк, США/  
Александр Есенин-Вольпин /Бостон, США/  
Юлия Закс /Джерри-Сити, США/  
Дина Каминская /Вашингтон, США/  
Марио Корти /Мюнхен, ФРГ/  
Эдуард Кузнецов /Тель-Авив, Израиль/  
Павел Литвинов /Территаун, США/  
Майя Литвинова /Территаун» США/  
Юрий Лурьи /Виннипег, Канада/  
Кронид Любарский /Мюнхен, ФРГ/  
Владимир Максимов /Париж, Франция/  
Михайло Михайлов /Нью-Йорк, США/  
Юрий Мнюх /Нью-Йорк, США/  
Фридрих Незнанский /Нью-Йорк, США/  
Эрнст Неизвестный /Нью-Йорк, США/  
Мария Олсуфьева /Флоренция, Италия/  
Игорь Померанцев /Ланштайн, ФРГ/  
Мария Розанова /Париж, Франция/  
Наталья Садомская /Нью-Йорк, США/  
Галина Салова /Мюнхен, ФРГ/  
Айше Сейтмуратова /Нью-Йорк, США/  
Аркадий Зайферт /Майнц, ФРГ/  
Константин Симис /Вашингтон, США/  
Андрей Синаевский /Париж, Франция/  
Валентин Турчин /Нью-Йорк, США/  
Борис Шрагин /Нью-Йорк, США/  
Вероника Штейн /Джерси-Сити, США/  
Юрий Штейн /Джерси-Сити, США/  
Лев Юдович /Гармиш-Партенкирхен, ФРГ/.

Примечание. В связи с публикацией в 45 номере журнала статьи Александра Штромаса "Мир Александра Галича" редакция сообщает, что эта статья представляет собой фрагмент из большой работы А. Штромаса об Александре Галиче.

## ЛИФШИЦ-ТРИО

Борис ЛИФШИЦ (скрипка), Цви ЛИФШИЦ (альт), Реула ХОЙЗНЕР (виолончель). Гастроли в Израиле с 9 по 14 января 1980 г. Концерты в Иерусалиме, Хайфе, Реховоте, в кибуце Шваим. Выступления по "Голосу Израиля".

Европейская печать о Лифшиц-Трио:

ZUGER NACHRICHTEN (7 марта 1979)

Непередаваемое наслаждение доставил слушателям струнный концерт в исполнении Лифшиц-Трио, выступавшего по приглашению международного женского клуба. Молодые художники, в музыкальную программу которых была включена премьера "Графика" Владимира Фогеля, продемонстрировали особую любовь к изысканной камерной музыке...

TAGES AUZEIGER (13 сент. 1979)

Может быть, от того Лифшиц-Трио Доставляет такое удовольствие публике, что молодые музыканты уходят от привычных шаблонов. Их интерпретация отличается непревзойденной техникой в сочетании с музыкальной пластичностью.

DER ZURCHER OBERLANDER (4.10.1979).

Лифшиц-Трио не может не вызывать восхищения у слушателей. При исполнении Шуберта музыканты великолепно передают контраст трагической и танцевально-легкой темы. Скрипач и альтист (братья Лифшицы) в одном-единственном звуке способны передать всю гамму чувств и переживаний. Все три музыканта с одинаково убедительным успехом проявляют себя как в романтической, так и классической музыке.

ZURICHER-ZEITUNG (14 сентября 1979)

"Сегодня мы уже не представляем себе музыкальной жизни Цюриха без этого камерного ансамбля".

# КОГДА БАНК «ЛЕУМИ»

ПРЕДЛАГАЕТ  
ВАМ БОНУС  
ДО

# 22,500 ЛИР

ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ,  
ЧТО ПОЛУЧИТЕ ЕГО

БОНУС В 25% ПО ПРОГРАММЕ «КОАХ АД 120» НА ЛЮБУЮ СУММУ ОТ 500 ДО 90.000 ЛИР.  
МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВОДИТСЯ В БАНКЕ «ЛЕУМИ», БАНКЕ «ИГУД», БАНКЕ «АЛИЯ-ЛЕУМИ»  
И БАНКЕ «АРАВИ-Израиль».

**БАНК «ЛЕУМИ» —**  
— банк, шагающий в ногу со временем.



bank leumi בנק לאומי

E.TAL ADV

До 17.9.  
БОНУС  
25%  
СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
БАНКА ЛЕУМИ

Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по поводу них редакция в переписку не вступает.

Издательство "Время и мы", ул. Шенкин, 26, Гиватаим.

Тел. (03)31-58-40.

26 Shenkin st., Givataim.

Письма и корреспонденцию направлять по адресу: П.Я. 24123, Тель-Авив.

Типография "Дерби". Улица Амавдиль, 6. Т.—А.

OCR и вычитка - Давид Титиевский, июнь 2010 г.

Библиотека Александра Белоусенко

Художник Лев Ларский

Корректор и литературный редактор Ася Левина

**На четвертой странице обложки: Р. Васми "Женщина".**

